

СБОРНИКЪ

ОТДѢЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Томъ LIII, № 4.

СЕДЬМОЕ ПРИСУЖДЕНІЕ

ПУШКИНСКИХЪ ПРЕМІЙ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІА ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 лн., № 12.

1891.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Октябрь 1891 года.

Непремѣнный Секретарь, Академикъ *А. Штраухъ*.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

| | СТРАН. |
|---|--------|
| «Вечерній звонъ». Стихи 1887—1890. Я. П. Полонскаго. Спб. 1890. Разборъ Л. И. Поливанова | 2 |
| «Повѣсти и рассказы» И. Н. Потапенко. Томъ второй. Рецензія Н. Н. Страхова | 64 |
| «Поэмы и пѣсни» А. Д. Львовой. Разборъ графа А. А. Голенни- щева-Кутузова | 67 |

СЕДЬМОЕ ПРИСУЖДЕНІЕ ПУШКИНСКИХЪ ПРЕМІЙ.

Отчетъ, читанный въ публичномъ засѣданіи Императорской Академіи Наукъ 19 октября 1891 года предсѣдательствующимъ во II Отдѣленіи, вице-президентомъ Академіи Я. К. Гротомъ.

На пушкинскій конкурсъ въ текущемъ году представлено было семь трудовъ, въ томъ числѣ пять въ стихотворной формѣ, изъ которыхъ четыре были оригинальныя произведенія и одинъ—переводъ. Одинъ изъ стихотворныхъ трудовъ еще до окончательнаго разсмотрѣнія его былъ взятъ авторомъ обратно. Одинъ изъ двухъ прозаическихъ трудовъ, именно переводъ знаменитаго поэтическаго произведенія, какъ не подходящій подъ правила премій, былъ возвращенъ переводчику.

По предварительномъ разсмотрѣніи въ Отдѣленіи русскаго языка и словесности поступившихъ на соисканіе трудовъ, приняли на себя оцѣнку ихъ слѣдующіе литераторы: Д. В. Аверкіевъ, графъ А. А. Голенищевъ-Кутузовъ, В. В. Латышевъ, Л. И. Поливановъ и Н. Н. Страховъ. По полученіи въ надлежащій срокъ рецензій отъ названныхъ лицъ, образована была, на основаніи положенія о пушкинскихъ преміяхъ, комиссія, въ которую Отдѣленіемъ приглашены были: А. Н. Майковъ, Н. Н. Страховъ, Д. В. Григоровичъ, И. В. Поняловскій и графъ А. А. Голенищевъ-Кутузовъ. Къ сожалѣнію, неожиданный отъѣздъ двухъ первыхъ и служебныя обязанности послѣдняго не позволили имъ принять участіе въ засѣданіи комиссіи, состоявшей такимъ образомъ изъ 8-ми членовъ.

* Сборникъ II Отд. И. А. Н.

По прочтеніи въ этомъ засѣданіи доставленныхъ рецензій и внимательномъ обсужденіи ихъ произведена была баллотировка, вслѣдствіе которой половиною пушкинскою преміею увѣнчанъ сборникъ стихотвореній Я. П. Полонскаго, а г. Потапенку присуждена за его «Повѣсти и рассказы» поощрительная премія въ 300 руб. Такую же премію коммиссія желала назначить А. Д. Львовой за ея «Поэмы и Пѣсни», но за неимѣніемъ достаточной на то суммы принуждена была выразить автору свое одобреніе лишь почетнымъ отзывомъ.

I.

Вечерній звонъ. Стихи 1887—1890. Я. П. Полонскаго. СПБ. 1890. Разборъ Л. И. Поливанова.

1.

Съ появленіемъ сборника новыхъ стихотвореній поэта, отпраздновавшаго свой полувѣковой юбилей, критикъ естественно ожидать прежде всего двухъ вопросовъ: 1) сохраняетъ ли поэтъ въ новыхъ произведеніяхъ прежнія достоинства своей поэзіи, не ослабли ли ея звуки и краски? и 2) представляютъ ли эти произведенія позднѣйшихъ годовъ выраженіе чувствъ, вновь переживаемыхъ поэтомъ, т. е. не повторяется ли въ нихъ лишь пережитое въ дни былые?

Для того, чтобы основательно отвѣтить на эти вопросы о новыхъ стихотвореніяхъ Я. П. Полонскаго, слѣдуетъ привести на память важнѣйшія черты его поэзіи за все время его поэтической дѣятельности и сопоставить ихъ съ произведеніями, вошедшими въ новый сборникъ, подлежащій нынѣ оцѣнкѣ — что мы и постараемся сдѣлать въ нашей рецензіи. Но для знающаго отличительное свойство музы Полонскаго отвѣтъ на второй изъ этихъ вопросовъ не потребуетъ продолжительнаго изслѣдованія, если вспомнить, что наиболѣе характеристическія произведенія его лирики не только выражаютъ то, что дѣйствительно пере-

жито и прочувствовано имъ (какъ то бываетъ у каждаго истиннаго поэта), но являются по большей части выраженіемъ такихъ ощущеній, которыя оставались въ глубинѣ души поэта дольше, чѣмъ это обыкновенно бываетъ у поэтовъ другого темперамента. Полонскій—одна изъ тѣхъ задумчивыхъ русскихъ натуръ, которыя не торопятся сообщать свои чувствованія. Ощущеніе *западаетъ* въ душу такого поэта, и потомъ при благопріятныхъ условіяхъ извлекается имъ оттуда. Вотъ почему оно въ большинствѣ случаевъ не сохраняетъ ѣдкой остроты своей, какъ это мы видимъ у многихъ поэтовъ другого душевнаго склада; его лирическое выраженіе является у него весьма рѣдко кликомъ восторга или громкимъ воплемъ человѣка, получившаго свѣжую рану. Если это—дума, то она уже носитъ слѣды долговременнаго внутренняго процесса: поэтъ выражаетъ ее, предварительно поискавъ ей выхода среди неоднократныхъ сомнѣній. Таково общее свойство его поэзіи, не исключая и бѣльшей части произведеній юныхъ лѣтъ. Итакъ онъ не только долженъ почувствовать выраженное, но и пожить съ нимъ: оно выливается въ поэтическую форму уже тогда, когда сгущается до послѣдней степени, на которой еще доступно формовкѣ. При такой природѣ творчества, едва ли можно ожидать возвращенія поэта къ давно прошедшимъ ощущеніямъ для ихъ повторенія, какъ то бываетъ у поэтовъ, легко настраивающихъ свои лиры и ищущихъ какого бы то ни было предмета для своихъ пѣсенъ, при чемъ весьма удобнымъ матеріаломъ служатъ варіаціи на старыя темы. Это не значитъ, чтобы въ душѣ Полонскаго не могло всплывать давнее былое и становиться вновь предметомъ поэтическаго произведенія: но когда это бываетъ, то у него оно перерабатывается въ новый матеріалъ и является *воспоминаніемъ* со всѣми чертами новаго факта душевной жизни, который подвергается описанному выше процессу переживанія.

Въ этой сдержанности чувства—и сильная и слабая сторона лирики Полонскаго: слабая—потому, что она не поражаетъ, не зажигаетъ всякаго читателя; нѣтъ въ ней того жала, которое

уязвляетъ и неподатливую для поэтическихъ впечатлѣній натуру: оттого слава такого поэта не громка, кругъ его читателей не очень обширенъ; для массы его произведенія мало замѣтны. Но есть и сильная сторона такого таланта: произведенія его охотно перечитываются по нѣскольку разъ; не поражая съ перваго раза, они при многократномъ возвращеніи къ нимъ нравятся болѣе и болѣе. Не собирая вокругъ себя толпы, его муза незамѣтно приобретаетъ себѣ друзей. Полонскій никогда не былъ предметомъ долгихъ журнальных толковъ, но онъ близкій собесѣдникъ многихъ и въ тишинѣ кабинета, и за семейнымъ столомъ, и въ комнатѣ молодой дѣвушки, и въ дѣтской комнатѣ. Его дѣйствіе не публичное, а индивидуальное; поэзія его не блестящая, а задушевная.

2.

Уже эта краткая характеристика творчества Полонскаго показываетъ, что мы имѣемъ дѣло не съ поэтомъ-виртуозомъ, который можетъ обратить вниманіе любымъ изъ своихъ произведеній независимо отъ выражающейся въ нихъ личности самого поэта. Потому сборникъ его стихотвореній для насъ является не только прибавленіемъ извѣстнаго числа пьесъ, болѣе или менѣе прекрасныхъ, которыя ждали бы лишь эстетической оцѣнки, какъ новыі вкладъ въ русскую антологию. Мы приступили къ чтенію «Вечерняго Звона» съ интересомъ болѣе многостороннимъ. Насъ занимаетъ онъ прежде всего, какъ новая глава поэтической жизни русскаго человѣка, отразившаго въ своихъ стихотвореніяхъ полнѣе, нежели кто-либо изъ другихъ лириковъ, внутреннюю жизнь того поколѣнія, котораго онъ такой симпатичный представитель, и той среды, которой онъ принадлежитъ по своему воспитанію и литературной дѣятельности. Нравственный и умственный законъ, съ которымъ онъ выступилъ на поэтическое поприще, опредѣляется условіями, которыя должно признать благопріятными. Условія эти — русская природа и семья, русская поэзія пушкинскаго періода и Московскій университетъ той поры

его, когда въ студенческой средѣ уже были значительно пробуждены мысль и поэтический вкусъ, нравственное чувство и гражданская совѣсть, благодаря оживленію научныхъ силъ и дарований въ средѣ профессоровъ конца тридцатыхъ и начала сороковыхъ годовъ нашего вѣка. Подъ этими влияніями образовался душевный складъ поэта, который онъ сохранилъ неизмѣнно до нашихъ дней. Трудовая жизнь, доставшаяся на его долю, не удаляла его отъ среды, которая составляетъ у насъ большую часть читающихъ; постоянная близость къ литературному кругу давала возможность питать умственные интересы, съ которыми вступилъ онъ въ жизнь; обстоятельства жизни не удаляли его и отъ народной среды, пониманіе которой видно въ каждомъ его стихотвореніи, касающемся ея области. Читая произведенія Полонскаго, чувствуешь себя во всевозможныхъ сферахъ русской жизни, которая ему близка, которую онъ не только внимательно наблюдаетъ, но въ которой онъ самъ—непрестанный участникъ. Обладая натурою по-преимуществу художественною, онъ тѣмъ не менѣе не уединяется въ область художественнаго созерцанія для того, чтобы сибаритствовать въ ней, но она служитъ ему для свободного поэтического воспроизведенія пережитого въ житейской толпѣ на ряду съ своими братьями: потому его поэзія такъ жизненна. Вмѣстѣ съ тѣмъ, воспитывая свою фантазію произведеніями европейскаго искусства, онъ не подчинился ни одному иноземному гению и сохраняетъ всюду свою великорусскую природу.

Национальность умственного и нравственного склада Полонскаго составляетъ отличительную черту его поэзіи, настолько выдержанную въ его произведеніяхъ, какой бы области они ни касались, что его можно признать изъ всѣхъ лириковъ второй половины нашего вѣка наиболѣе русскимъ по тому, какъ онъ относится къ окружающей его дѣйствительности, т. е. какъ она отражается въ его фантазіи, и по чувству, и по характеру, насколько онъ выражается въ его произведеніяхъ, не говоря уже о языкѣ, которымъ онъ ихъ пишетъ. И это справедливо не только

въ отношеніи къ тѣмъ произведеніямъ, гдѣ онъ рисуетъ картины и портреты изъ народной жизни, какъ напр. «Голодь» (I, 280) *), «Старая няня» (I, 331), «Мельникъ» (I, 206), «Зимняя пѣсня русалокъ» (I, 335), «Въ степи» (I, 354), второе «письмо къ музѣ» (I, 382) и т. п., или къ тѣмъ, которыя даже усвоены низшими слоями грамотнаго люда, каковы: «За окномъ въ тѣни мелькаетъ» (I, 16), «Затворница» (I, 47), «Подойди ко мнѣ, старушка» (I, 146); но и къ тѣмъ его стихотвореніямъ, въ которыхъ онъ вступаетъ въ область чувствъ и мыслей, этой средѣ недоступныхъ, каковы напр.: «Холодѣющая ночь» (I, 172), «На Женевскомъ озерѣ» (I, 179), «Финскій берегъ» (I, 193), «Чтобы пѣсня моя разлилась» (I, 230), «На улицахъ Парижа» (I, 341) и многія другія.

Согласно этому русскому складу, муза Полонскаго является намъ кроткою, но въ то же время не уступчивою въ завѣтныхъ своихъ чувствахъ; образъ мыслей ея благороденъ, но чуждъ рыцарства; она выразительна, но далека отъ всякихъ эффектовъ; линіи ея красивы, но свободны отъ всякой позы. Порою можетъ даже показаться, что Полонскій доходитъ до крайнихъ предѣловъ простоты, за которыми уже лежитъ область тривіальнаго: но та поэтическая школа, въ которой онъ воспитывался, въ большинствѣ его произведеній, охраняетъ его отъ рискованнаго шага въ эту область, враждебную поэзіи — и простота отличаетъ его поэзію лишь постольку, поскольку необходима и неизбежна при той искренности, которая свойственна каждому его лирическому изліянію.

3.

При такомъ характерѣ лирики Полонскаго, она получаетъ для насъ интересъ правдивой хроники, написанной перомъ художника, который занимаетъ въ ней центральное мѣсто. Потому

*) Всѣ сноски здѣсь сдѣланы на «Полное собраніе сочиненій Я. Полонскаго» въ 10 т. 1885 г.

каждый новый сборникъ его стихотвореній, неразрывно съ интересомъ эстетическимъ, удовлетворяетъ и интересу, свойственному повѣствованіямъ о лицахъ, успѣвшихъ захватить наше вниманіе и симпатію своей внутренней жизнію.

Внутренняя жизнь поэта того склада, который очерченъ нами выше, привлекаетъ прежде всего тѣмъ *идеализмомъ*, который въ теченіе полулѣта сохранялъ онъ, несмотря на неблагоприятныя условія.

Поэтъ выступилъ на свое поприще въ эпоху разложенія патриархальныхъ порядковъ общественной жизни и традиціоннаго образа мыслей. Онъ вступилъ въ умственное теченіе вѣка, ознаменованное разладомъ мысли съ потребностями чувства и совѣсти. Эта борьба захватила его душу на ряду съ его современниками—и, конечно, наложила значительную печать на его поэзію. Здѣсь индивидуальность поэтической натуры Полонскаго проявила характеръ, весьма отличный отъ другихъ его собратій на поприщѣ слова. Въ то время, какъ одни, отдавшись эвдемоническому жизнелюбію, безъ вниманія къ интересамъ высшаго порядка, видѣли удовлетвореніе всѣхъ человѣческихъ потребностей въ пользованіи внѣшними благами жизни, другіе, отвернувшись отъ вѣковыхъ запросовъ вѣры и разума, ограничивали свой кругозоръ практическою сферою гражданскихъ заботъ и согласно съ ними перестраивали понятія о нравственности, третьи являлись популяризаторами упрощеннаго механическаго міровоззрѣнія, — а изъ совокупности всѣхъ этихъ усилій слагался кодексъ современнаго матеріализма, который на время обманулъ многихъ своею стройностію, — въ это время натуры, настроенныя идеально, чувствовали болѣе, чѣмъ когда-либо, свое одиночество. Изъ нихъ личности, мысль которыхъ была возбуждена, и которые слѣдовательно не могли удовлетворяться догматизмомъ, пассивно усвояемымъ въ дѣтствѣ, были предоставлены и наукою и жизнію исключительно самимъ себѣ. Полонскій однажды выразительно высказалъ это горькое чувство одиночества:

Какое дѣло вамъ, счастливыцѣ,
 До вспышекъ сердца моего?
 Вы не дали ему отрады—
 И не возьмете ничего.
 Какое дѣло вамъ, педанты,
 До скорби духа моего?
 Вы на вопросъ мой, самый жгучій,
 Не отвѣчали ничего.
 Сокровищъ сердца, силы мысли
 Ужъ я не жду ни отъ кого...
 И все, чѣмъ я дышу покуда,
 Творю почти изъ ничего (I, 325).

Не трудно понять, какъ не легко жилось среди такихъ условий жизни личности, которая не можетъ поступиться своимъ идеализмомъ: она носитъ въ душѣ неодолимую потребность гармоническаго міровоззрѣнія—и остается съ нею одна, не находя никого, кто раздѣлилъ бы съ нею эту умственную жажду; она алчетъ увидѣть хотя малѣйшее осуществленіе гармоніи въ жизни—и окружена людьми, отрицающими самый принципъ этой гармоніи. Не удивительно, что Полонскій такъ часто возвращался къ выраженію чувства душевной боли, которую причиняло ему зрѣлище окружавшей его жизни: согласно сдержанному его характеру, это выражается у него чаще какъ чувство недовѣрія къ жизни:

Жизнь движется впередъ походкою неровной:
 Ея намѣренья ужели ты постигъ?
 Чтобъ высказать себя, жизнь ловить мигъ условный:
 Ужели отъ тебя зависитъ этотъ мигъ?
 Жизнь терпѣливая привыкла къ испытаньямъ—
 Не вѣдаетъ конца и не спѣшитъ къ концу.
 Поэтъ! не вѣрь ея тоскливымъ ожиданьямъ,
 И вѣрь съ трудомъ ея веселому лицу (I, 113).

Порою это чувство уже звучитъ упрекомъ:

Хоть сотую долю тяжелыхъ задачъ

Рѣши ты намъ, жизнь безтолковая,

Некстати къ намъ цѣжная,

Некстати суровая,

Слѣпая, безпутно-мятежная!

(«И въ праздности горе и горе въ трудѣ», I, 247).

Наконецъ несостоятельность жизни вызываетъ у поэта чувство страданія:

Покоя-ль ожидать? — но тамъ, гдѣ наши силы

Стремятся на просторъ и рвутся изъ пеленъ,

Гдѣ правды нѣтъ еще, а вымыслы постылы —

Тамъ нѣтъ желаннаго покоя внѣ могилы,

Тамъ даже сонъ любви — больной, тревожный сонъ.

(«Среди хаоса», I, 257).

И поэтъ не могъ придавать цѣны поученіямъ жизни. Онъ шелъ своимъ путемъ и съ юности искалъ разсѣять этотъ мракъ, вѣруя въ свѣтъ знанія и творчества:

И я сынъ времени, и я

Былъ на дорогѣ бытія

Встрѣчаемъ демономъ сомнѣнья...

Весь міръ открытъ моимъ очамъ,

Я снова гордъ, могучъ, спокоенъ.

Пушай разрушенъ прежній храмъ,

О чемъ жалѣть, когда построенъ

Другой — не на холмѣ гробовъ?...

... И вотъ

Всѣ геніи земного міра

И всѣ, кому послушна лира,

Мой храмъ наполнили толпой (I, 33).

Эта вѣра въ царство мысли, противоположное темной житейской сферѣ, бывала высказана Полонскимъ неоднократно съ силою искренняго убѣжденія, когда онъ писалъ:

Для созерцающихъ очей
 И для внимательнаго слуха
 Доступенъ тайный образъ духа,
 И внятень смыслъ его рѣчей.
 («О, подними свое чело», I, 41).

или:

Міру, какъ новое солнце, сіяетъ
 Свѣточъ науки, и только при немъ
 Муза чело украшаетъ
 Свѣжимъ вѣнкомъ.
 («Царство науки не знаетъ предѣла, I, 175).

Изъ послѣднихъ стиховъ ясно, въ какую тѣсную связь съ озареніемъ разума ставитъ Полонскій успѣхъ поэтической дѣятельности. Въ одномъ изъ стихотвореній 1872 г. онъ ставитъ въ числѣ условій, необходимыхъ для поэзіи, на ряду съ вѣрою, воспріимчивостію души къ красотамъ природы и къ чувствамъ людей, — и энергію разума, но разума, ищущаго раскрыть смыслъ жизни, управляемой закономъ высшей истины:

Пока вникаешь ты въ задачу жизни сложной,
 Пока ты вѣришь въ непреложный
 Законъ любви, добра и истины святой —
 Поэзія еще съ тобою, милый мой.
 («Поэзія», I, 347).

Искомая поэтомъ полнота душевной жизни въ одномъ изъ лучшихъ стихотвореній поставлена даже въ прямую зависимость отъ познанія міра:

Изъ вѣчности музыка вдругъ раздалась,
 И въ безконечность она полилась,
 И хаосъ она на пути захватила,
 И въ безднѣ, какъ вихрь, закружились свѣтила:
 Пѣвучей струной каждый лучъ ихъ дрожитъ,

И жизнь, пробужденная этою дрожью,
 Лишь только тому и не кажется ложью,
 Кто слышитъ порой эту музыку Божью,
 Кто разумомъ свѣтель,— въ комъ сердце горить.
 («Гипотеза», I, 400).

И когда поэтъ постигаетъ эту гармонію вселенной, онъ обрѣтаетъ бодрость духа, и эгоистическія чувства умолкаютъ въ немъ передъ высшими законами вселенной (см. стих.: «Міровая ткань», I, 424).

Но поэтъ вѣритъ въ возможность осуществленія гармоніи не только во вселенной, но и въ исторической жизни людей; онъ полагаетъ важнѣйшею ошибкою тѣхъ, кто управляетъ судьбами народовъ на землѣ, непониманіе *духа вѣка*, въ которомъ мудрецъ долженъ понять указаніе свыше:

Жизнь гаснетъ — духъ неугасимъ;
 Мы погасить его не въ силахъ;
 Онъ не хоронится въ могилахъ,
 Отъ мертвыхъ онъ идетъ къ живымъ.
 Духъ вѣка — это Божій духъ;
 Онъ міровой любовью дышитъ,
 И только тотъ его не слышитъ,
 Кто къ злобѣ дня склонилъ свой слухъ.
 Его не слышалъ Вавилонъ,
 Не слышитъ и Востокъ растлѣнный,
 Ни Валтазаръ нашъ современный,
 Ни современный Фараонъ. («Духъ вѣка», I, 414).

Сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, какъ глубоко мотивировано у Полонскаго его недовѣріе къ служенію поэзіи тѣмъ житейскимъ злобамъ дня, которыя всецѣло поглощали его современниковъ, отказавшихся отъ идей высшаго порядка. Онъ глубоко чувствовалъ, что житейскія тревоги, болѣзненно помутившія его современниковъ, могли бы и должны были бы получить иное разрѣшеніе, если бы разумъ дѣятелей былъ озаренъ болѣе. Его

уклоненіе отъ гражданской дидактической поэзіи было слѣдствіемъ не равнодушія къ общественному дѣлу, но слишкомъ для него яснаго безсилія такой поэзіи. (См. напр. его стих.: «Поэту-гражданину», I, 221).

Для уясненія, какъ смотритъ поэтъ на отношеніе житейской среды къ поэзіи, особенно важны «Жалобы музы» (I, 223—230), гдѣ муза повѣствуетъ, какъ она, снявъ вѣнокъ съ своего чела и покинувъ вдохновляющую ее природу, обращалась къ людямъ различныхъ сферъ—и была отвергнута всѣми ими: одни отвергли ее потому, что она не даетъ земныхъ благъ, другіе—потому, что она одѣта слишкомъ бѣдно, третьи—потому, что принимаютъ ея слова за несбыточные грезы; иные—потому, что фанатически привязались къ своимъ утопіямъ, или преисполнены вражды, или заняты кровавой борьбою, среди которой муза по совѣсти не знаетъ, кому желать побѣды.

Поэтъ вѣритъ въ иное назначеніе поэзіи: онъ вѣритъ въ красоту, какъ идеаль, который собственной силою покоряетъ людей и нѣкогда долженъ осуществиться въ жизни. Дѣло поэта воплощать красоту взамѣнъ всѣхъ другихъ измѣнчивыхъ мечтаній:

Я сберегу мечту пную —
 Ту заповѣдную мечту,
 Чтò всѣмъ народамъ смутно снилась,
 И чтò въ земную красоту
 Еще нигдѣ не воплотилась.
 Безъ этой творческой мечты
 Нѣтъ правды въ людяхъ, смысла въ лицахъ,
 Нѣтъ ни одной живой черты
 На историческихъ страницахъ.

(«Я красоты не разлюбилъ», I, 426).

Таковъ выводъ Полонскаго послѣ многолѣтняго служенія на поприщѣ поэзіи. Но уже въ началѣ этого поприща онъ такъ же понималъ свое назначеніе. Въ одномъ изъ произведеній первой поры онъ выразилъ это въ формѣ воспоминанія художника

о дняхъ, проведенныхъ въ Элладѣ, гдѣ его вниманіе приковала своей первобытной красотою древняя статуя, лицо которой пощадило время. Въ одну ночь, созерцая это воплощеніе красоты, художникъ далъ себѣ обѣтъ:

....я въ тайникѣ

Моей юной души всѣ черты
Я хотѣлъ уловить и съ собой
До утра унести ихъ домой,
Чтобы съ утреннимъ первымъ лучемъ
Въ мертвый мраморъ ударить рѣзцомъ,
Благороднымъ и рѣзкимъ чертамъ
Уловленную мысль передать
И чредою грядущимъ вѣкамъ
Все, что было завѣщено намъ,
Въ первобытной красѣ завѣщать. («Статуя», I, 18).

Но полагая свое назначеніе въ служеніи красотѣ, поэтъ разумѣетъ подѣ красотою не предметъ безразличнаго въ нравственномъ отношеніи наслажденія, но то нравственно-благотворное начало, которому суждено пересоздать человѣчество. «Гармонія учить его по-человѣчески страдать» («Когда октава за октавой», I, 305); поэзію свою олицетворяетъ онъ въ видѣ нагорнаго ключа, который, будучи рожденъ мглою, плившею съ земли къ звѣздамъ, пригрѣтый ласкою Божія луча, растаявъ въ чистый ключъ, и хотя задавленъ снѣжною лавиною, но весь полонъ надежды вырваться изъ-подъ этой ледяной власти, чтобы послужить «и другу и недругу»:

«Погоди, когда-нибудь
Выбьюсь я на вольный путь!
На долину я сойду,
Водопадомъ упаду,
Засверкаю жемчугомъ,
Покачусь живымъ ручьемъ...
Буду жажду утолять,
Ваши силы обновлять».

Какъ увидимъ ниже, поэту нашему хорошо знакомы удары, наносимые такому идеализму мрачными рѣшеніями ума его современниковъ; но въ минуты истинно-поэтического вдохновенія ничто не смущаетъ его. Нагорный ключъ твердъ передъ предостереженіями своему порыву:

«Много встрѣтишь ты преградъ:

Скалы гребнями торчать —

И я знаю, между скалъ

Темный въ бездну есть провалъ.

Какъ легко тебѣ упасть

Въ эту каменную пасть,

Гдѣ весь вѣкъ горять одни

Лишь подземные огни».

Бодро отвѣчаетъ ключъ на эти охладительныя рѣчи:

«Силъ моихъ не истребятъ

Ни провалъ, ни самый адъ;

И въ провалѣ и въ аду

Я товарищей найду.

Вмѣстѣ съ лавой огневой,

Вмѣстѣ съ пепломъ и золой

Я, чтобъ небо увидать,

Буду землю колебать...

У какой-нибудь горы

Я сгущу мои пары;

Надъ дымящимся жерломъ

Стану темнымъ я столбомъ;

Буду грозно клокотать,

Сѣрнымъ пламенемъ дышать;

И меня сопровождать

Будутъ молніи и громъ.

Но едва лучистый видъ

Неба взоръ мой прояснить,

Я не въ грезахъ, наяву

Синей тучкой поплыву,

Засверкаю жемчугомъ,
Упаду косымъ дождемъ.
Буду жажду утолять,
Ваши силы обновлять».

(I, 317).

Въ другой разъ, заимствуя у Фета олицетвореніе поэзіи въ образѣ «вечернихъ огней», Полонскій высказываетъ такую увѣренность стараго поэта:

На склонѣ скорбныхъ дней еще глаза поэта
Сквозь бездну зла и лжи провидятъ красоту;
Еще душа таитъ горячую мечту
И вдохновеніе — послѣдній отблескъ свѣта.

Вотъ-вотъ они —

О Господи! твои вечерніе огни! (1883. I, 452).

Итакъ взглядъ Полонскаго на красоту, служеніе которой избираетъ онъ какъ главное дѣло жизни, не имѣетъ ничего общаго со взглядомъ тѣхъ, которые смотрятъ на красоту, какъ на средство услажденія эгоистической жизни, какъ на условіе нравственнаго комфорта среди окружающаго ихъ унынія, тревогъ и страданія. Но онъ въ то же время чувствуетъ, какъ никто, всю ложь утилитарнаго стихотворства, которое, забывая природу искусства, пытается служить жизни помимо силы красоты. По его понятіямъ, всякое общественное благо можетъ быть предметомъ поэзіи, но только подъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы оно было поставлено предъ очи во всей силѣ побѣдоносной красоты. Такъ, олицетворивъ свободную мысль въ образѣ Фрины, побѣдившей своею красотою и доносчика и судей, поэтъ заключаетъ:

Свободная мысль, если ты не больная,
Не тощая мысль, а полна красоты
И силы, явись намъ, какъ Фрина нагая,
Во всемъ обаяньѣ своей наготы.
И смѣло скажи ты намъ: знайте, кто я!
Смутится доносчикъ, и ахнетъ судья.

И полны восторгомъ, и полны смятеньемъ
Толпы за тобой потекутъ съ увлеченьемъ.

(«Фрина», I, 203).

4.

Изъ предыдущаго ясно, что умонастроение Полонскаго поставило его между двухъ силъ: силою жизни хаотической, исполненной коренныхъ заблуждений чувства и разума, «безтолковой», какъ поэтъ называетъ ее,—и звучащей въ душѣ силой гармоніи, которую заглушаетъ эта житейская безтолочь, силою свѣта, котораго ищетъ онъ въ области знанія и искусства. Переносить это положеніе не легко, и оно неизбѣжно соединено съ страданіемъ—и страданіе положило замѣтный слѣдъ на его поэзію. Ему такъ рѣдко достается душевный покой, а между тѣмъ, по одному изъ лучшихъ самопризнаній поэта, ему именно нуженъ этотъ покой:

Чтобы пѣсня моя разлилась какъ потокъ,

Ясной зорьки она дожидается.

Пусть не темная ночь, пусть горящій востокъ

Отражается въ ней, отливается.

Пусть чиликаютъ вольныя птицы вокругъ,

Сонный лѣсъ пусть проснется-нарядится,

И сова — пусть она не тревожитъ мой слухъ,

И, слѣпая, подальше усядется. (I, 230).

И ему-то, такъ жаждущему ясныхъ впечатлѣній, суждено выносить всю тяжесть умственного и нравственного безвременья. Для поэтической дѣятельности въ такую пору нужно много силъ, глубокая вѣра въ свой идеалъ, чтобы поэзія стала борьбой и горѣла увѣренностью въ побѣдѣ.

Нашъ поэтъ порою окрыляется этой силой, и его душа обрѣтаетъ тогда энергію. Онъ умѣетъ почувствовать мощь Прометея, несущаго Божественный свѣтъ темнымъ людямъ —

Любовь и свободу

Отъ страха и чаръ,

И жажду познанья,

И творческій даръ.

Вдругъ разорвалася
Ночи завѣса —
Брызнули въ пространство
Молніи Зевеса, —
И проснулись боги,
И богини съ ложа
Поднялись, пугливымъ
Крикомъ міръ встревожа.

И посланный ими
Въ багровомъ дыму
Мелькнулъ черный воронъ
И ринулся въ тьму —
Онъ близко... онъ ищетъ...
Межъ скалъ и лѣсовъ
Того, кто похитилъ
Огонь у боговъ.

Я иду — и свѣтъ мой
Свѣтитъ по дорогѣ,
Я ужъ знаю тайну,
Что не вѣчны боги...
Міръ земной, я знаю,
Пересозданъ снова,
И уста роняютъ
Пламенное слово.

Не могъ утаить я
Святого огня...
И воронъ изъ мрака
Завидѣлъ меня:
Когтями и клювомъ
Онъ рветъ мою грудь,
И кровью обрызганъ
Тяжелый мой путь.

Пусть въ борьбѣ паду я!
Пусть въ цѣпяхъ неволи

Буду я метаться
 И кричать отъ боли —
 Ярче будетъ скорбный
 Образъ мой свѣтиться,
 Съ крикомъ дальше будетъ
 Мысль моя носиться...

И чтó тогда, боги!
 Чтó сдѣлаетъ громъ
 Съ безсмертіемъ духа,
 Съ небеснымъ огнемъ?
 Вѣдь то, чтó я создалъ
 Любовью моею,
 Сильнѣе желѣзныхъ
 Когтей и цѣпей!.. («Прометей», 1881, I, 447).

Но такой подъемъ душевныхъ силъ не могъ стать характеристическою особенностію русскаго поэта второй половины нашего вѣка, когда самая сильная душа растрачивалась на одно только самоохраненіе отъ скептицизма, который подтачиваетъ вдохновеніе поэтовъ. Въ минуту сознанія такой участи Полонскій выразительно резюмировалъ свое положеніе въ извѣстномъ стихотвореніи «Нищій», гдѣ, изобразивъ старика, собирающаго подаенія и раздающаго ихъ

Больнымъ, калѣкамъ и слѣпцамъ,
 Такимъ же нищимъ, какъ и самъ, —
 онъ прибавляетъ:

Въ нашъ вѣкъ таковъ иной поэтъ:
 Утративъ вѣру юныхъ лѣтъ,
 Какъ нищій старецъ изнуренъ,
 Духовной пищи проситъ опъ,
 И все, чтó жизнь ему ни шлетъ,
 Онъ съ благодарностью беретъ,
 И душу дѣлитъ пополамъ
 Съ такими жъ нищими, какъ самъ. (I, 50).

Поэтическій путь Полонскаго есть характерная повѣсть нашего современника-идеалиста со всѣми колебаніями его духа между ревниво охраняемыми священными чаяніями истины, добра и красоты, глубоко запавшими въ его душу, и мертвящими вѣяніями скептицизма, ожесточенія и цинизма. Здѣсь не мѣсто изслѣдовать весь ходъ поэтической мысли Полонскаго на этомъ пути колебаній и страданій. Будетъ достаточно указать на два-три характернѣйшія признанія поэта.

Таково его стихотвореніе «Муза», произведеніе зрѣлой поры, гдѣ читаемъ:

Я съ ней дѣлилъ неволи бремя —
 Наслѣдье мрачной старины —
 И жажду пересилить время,
 Уйти въ пророческіе сны.
 Ея нервическаго плача
 Я былъ свидѣтелемъ не разъ —
 Такъ тяжела была для насъ
 Намъ жизнью данная задача!

Съ трогательной искренностью поэтъ раскрываетъ глубокую тайну этихъ бесѣдъ съ своей музою:

Зато печаль моя порой
 Ее безжалостно смѣшила,
 Она въ вѣнокъ лавровый свой
 Меня, какъ мальчика, рядила.
 Безъ вѣры въ ясный идеалъ
 Смѣшно ей было вдохновенье,
 И звонкій голосъ заглушалъ
 Мое риемованное пѣнье.
 Смѣшонъ ей былъ весь нашъ Парнасъ
 И нами пойманная кляча —
 Давно измученный Пегасъ;
 Но этотъ смѣхъ — предвѣстникъ плача —
 Ни разу не поссорилъ насъ (I, 219).

Въ другой разъ, въ минуту поэтической хандры, въ стихотвореніи болѣе поздней поры, перечисливъ утраты и разочарованія, поэтъ заключаетъ свое раздумье такими словами:

А сколько злыхъ измѣнъ, вражды, насмѣшекъ, слезъ

Ты встрѣтишь? — не сочтешь!

Нѣтъ, безнаказанно, братъ, до сѣдыхъ волосъ

И ты не доживешь!

Путь долгой жизни есть путь къ жизни безнадежной —

Таковъ законъ судьбы...

Ужели неизбежный?

(«Молчи, минутнаго покоя не тревожь», I, 373).

И поэтъ, на самомъ дѣлѣ носящій въ душѣ вѣру и въ достоинство человѣческой природы, и въ силу познанія и творчества, и въ бессмертную душу, во всю жизнь не могъ приобрѣсть смѣлости шага на пути своемъ: перечитывая его стихотворенія, постоянно переходишь отъ ясныхъ созерцаній и сильнаго чувства удовлетворенія къ сосредоточенному грустному раздумью. Правда, отъ этого озареніе его души радостнымъ чувствомъ приобрѣтаетъ болѣшую цѣну и болѣшее довѣріе къ его искренности. Поэтъ не является, какъ очень многіе стихотворцы нашего времени, чѣмъ-то въ родѣ специалиста по части чувствъ жизнерадостныхъ или, наоборотъ, скорбныхъ, при чемъ послѣднія не всегда добросовѣстно мотивированы. Читая Полонскаго, постоянно чувствуешь, что то голосъ живого человѣка, берушаго перо только тогда, когда въ душѣ созрѣваетъ дѣйствительная потребность слова. Въ связи съ этимъ и простота его склада и слога. Непритязательность его творчества нерѣдко бываетъ причиною того, что самыя высокія мысли, достойныя стать формулами его міровоззрѣнія, оказываются словно оброчными въ стихотвореніяхъ, главный предметъ которыхъ незначителенъ и кото-
 111

И въ такомъ нравственномъ темпераментѣ Полонскій долженъ являться въ своей поэзіи особенно деликатнымъ въ сферѣ

тѣхъ вопросовъ, которые составляютъ наибольшую для него святыню. Врагъ лжи, онъ готовъ лучше молчать объ этихъ предметахъ его совѣсти, нежели говорить о нихъ, если онъ не увѣренъ, что будетъ вѣрно понятъ читателями. Это замѣчается всякій разъ, когда онъ касается вопросовъ вѣры, любви къ отечеству или гражданскихъ идеаловъ. Тутъ болѣе, нежели гдѣ-нибудь, виденъ человѣкъ второй половины нашего вѣка, которому хорошо извѣстно, что эти предметы слишкомъ часто трактовались многими непризванными, что въ выраженіе связанныхъ съ этими предметами чувствъ вкралась рутина, а съ нею невыносимая для него неискренность. И онъ недовѣрчивъ къ себѣ въ этой области болѣе, нежели въ чемъ-нибудь другомъ. Основное свойство его души — жажда вѣры, и потому ей такъ сродно вѣчное исканіе ея, и такъ естественны у него упреки себя въ маловѣріи. Но онъ торжественно отрекся отъ пропаганды невѣрія устами изображеннаго имъ язычника, которому въ знаменательномъ снѣ самъ Зевсъ, наскучившій куреніями жрецовъ, среди народа, утратившаго былыя чувства искренней вѣры, обѣщаетъ участіе въ трапезѣ безсмертныхъ, если онъ пойдетъ проповѣдывать, что Зевса не существуетъ..

— Я клясѣ страдать за Зевса,
 Но — страдать за отрицанье...
 Пощади!

отвѣчаетъ язычникъ, и Зевсъ отвергъ его, обѣщаясь найти другихъ пророковъ («Сонъ язычника», I, 292).

Но съ другой стороны поэтъ нашъ не беретъ за учительство, не рѣшится вкрикивать призывы къ вѣрѣ. Всюду, гдѣ онъ касается ея, онъ какъ бы самъ заслушивается ея призыва и, готовый скорѣе учиться ей, нежели учить, тѣмъ болѣе вызываетъ на вѣру сердце читателя. Изъ нашихъ лириковъ онъ задумевнѣе всѣхъ откликается на голосъ народной вѣры. Всякій разъ, когда онъ подходитъ съ этой стороны къ народу, онъ даетъ чувствовать, что эта вѣра для него драгоцѣнное сокровище. При-

помнимъ, напริมѣръ, «Письма къ музѣ», гдѣ поэтъ напоминаетъ ей свои скитанія съ нею среди родныхъ полей:

Помнишь — молоды-безпечны
И отверженно-убоги,
За возами шли мы полемъ
Вдоль проселочной дороги . . .
.....
И не юною подругой,
И не дѣвushкой любимой —
Божествомъ ты мнѣ казалась,
Красотой невыразимой.
Я молчалъ — ты говорила:
«Нашу бѣдную Россію
Не стихи спасутъ, а вѣра
Въ Божій судъ или въ Мессію.
И не наши Цицероны,
Не Гораціи, — иная
Вдохновляющая сила —
Сила правды трудовая
Обновитъ тотъ міръ, въ которомъ
Славу добываютъ кровью, —
Міръ съ могущественной ложью
И съ безсильною любовью» . . .
Съ той поры, мужая сердцемъ,
Постигать я сталъ, о муза,
Что съ тобой безъ этой вѣры
Нѣтъ законнаго союза.

(2-е письмо. 1877. I, 385).

Когда ему приходится стать лицомъ къ лицу съ душою, освященной этой вѣрой, — сколько смиренія въ его отношеніи къ ней, хотя онъ не скрываетъ, что она не можетъ быть удѣломъ его. Въ прекрасномъ стихотвореніи «Старая няня» онъ между прочимъ обращается къ ней съ такими словами:

Черезъ тридцать лѣтъ домой
Я вернулся, и слѣпой
Ужъ засталъ тебя старушкою,
Въ темной кухнѣ, съ чайной кружкою —
Ты догадывалась . . .
Слезно радовалась!
И когда я легъ вздремнуть,
Ты пришла меня разуть,
Какъ дитя свое любимое,
Старика, въ гнѣздо родимое
Воротившагося,
Истомившагося.
Я измученъ былъ, а ты
Прожила безъ суеты
И мятежныхъ думъ не вѣдала,
Капли яду не отвѣдала —
Яду мающихся,
Сомнѣвающихъ.
И напомнила Христа
Ты страдальцу безъ креста,
Гражданину, сыну времени,
Посреди родного племени
Прозябающему,
Изнывающему.
Богъ съ тобой! я жизнь мою
Не смѣняю на твою . . .
Но ты мнѣ близка, безродная,
Въ самомъ рабствѣ благородная,
Не оплаченная
И утраченная! (I, 331).

Такое же осторожное отношеніе у Полонскаго къ предмету патріотическихъ чувствъ. Онъ не довольствуется дѣтской стихійной привязанностію къ родинѣ или любовнымъ влеченіемъ къ ней юноши, но ищетъ опоры своей любви къ отечеству въ его спо-

способности вызвать къ себѣ уваженіе и довѣріе (см. стих.: «Въ ребяческіе дни», I, 289, и «Бранятъ», I, 241). И зато, когда приходится Полонскому слагать хвалу великимъ людямъ своего отечества—она у него является неразрывною съ прославленіемъ самой Россіи. Таковы юбилейныя стихотворенія, посвященныя воспоминаніямъ о Ломоносовѣ, Крыловѣ, Пушкинѣ, Тургеневѣ. Любуясь въ нихъ воплощеніемъ народнаго генія, онъ отдается вполне своему патріотическому чувству. Особенно ярко выразилось оно въ извѣстномъ стих.: «А. С. Пушкинъ» (I, 144).

Характеръ общественнаго настроенія той среды, гдѣ пришлось Полонскому провести большую часть поэтическаго поприща, чаще всего ставилъ его лицомъ къ лицу съ ложью въ области гражданскихъ помышленій. Свой гражданскій идеалъ Полонскій выражалъ неоднократно и положительно, какъ сторонникъ законной свободы (см.: «Одному изъ усталыхъ», I, 221; «Въ альбомъ К. Ш.», I, 268) и отрицательно, ярко выставляя ложь наивныхъ утопій (напр. въ стих.: «Фантазія бѣднаго малаго», I, 244) и жестокость, скрытую подъ громкими принципами («На улицахъ Парижа», 1871, I, 341), и ограниченное самодовольство публициста, обратившаго политическую пропаганду въ ремесло (1-е письмо къ музѣ, сатирическое, I, 375).

Мягкая природа музы Полонскаго сообщила свой характеръ и тѣмъ произведеніямъ, которыя были вдохновлены чувствомъ любви. Онъ выразилъ многообразно радости и тревоги любви отъ первыхъ дѣтскихъ мечтаній до безумнаго кипѣнія «поздней молодости» (I, 254), позднихъ грезъ безъ отзыва («Увидалъ изъ-за тучи утѣсь», I, 443) и даже завистливаго чувства старости къ молодости («Старикъ», I, 468). Но изъ всѣхъ пѣсенъ Полонскаго о любви, которыхъ найдется до 50-ти, только одна пытается выразить порывъ страсти («Поцѣлуй», I, 239). Обыкновенно поэтъ останавливается или на призрачномъ чувствѣ, созданномъ мечтою («Цвѣтокъ»), II, 1; «Вальсъ: лучъ надежды», I, 17; «Чивита-Веккіа», I, 121; «Бредъ», I, 133; «Увидалъ изъ-за тучъ»), или на чувствѣ, охлажденномъ недовѣріемъ къ нему («По-

слѣдній разговоръ», I, 13; «Прощай», I, 46; «Нѣтъ, нѣтъ! не оттого признаньемъ медлю я», I, 113; «Лѣсъ», I, 75; «Что, если...», I, 252), или разочарованіемъ въ предметъ любви («Вижу ль я...», I, 18; «Новой Лаурѣ», I, 81). Онъ особенно любить остановиться на чувствѣ, которое остается скрытымъ въ глубинѣ души, не высказанное («Письмо», I, 108; «Наивная жалоба», I, 49; «Прости», I, 108; «Утрата», I, 170). Рѣже выражается чувство беззавѣтное, но которому угрожаютъ люди («Маска», I, 38; «Затворница», I, 4; «Отрочество», I, 339) или которому грозитъ измѣна или предательство («Подойди ко мнѣ, старушка», I, 146; «Орелъ и Змѣя», I, 269). Идиллическое изображеніе любви встречаемъ только въ 4 стихотвореніяхъ, но въ двухъ изъ нихъ выбраны моменты, когда полнота наслажденія нарушается наступившей разлукой («Пришли и стали тѣни ночи», I, 2) или мукою ожиданія («Выйду ль за оградю...», I, 145). Юная радость любви изображена лишь въ двухъ стихотвореніяхъ («Ахъ, какъ у насъ хорошо на балконѣ», I, 16; «За окномъ въ тѣни мелькаетъ...», I, *ibid.*).

Но если поэтъ не останавливается на изображеніи страсти, то мы находимъ у него болѣе оригинальныя темы въ изображеніи любви, гдѣ представляется она какъ цѣнное положительное благо жизни. Таковы: «Ночь въ Крыму» (I, 149), гдѣ воспѣта любовь, ставшая надолго вдохновительницей поэта:

Эта музыка души
 Мнѣ въ иные, злые годы
 Послѣ бурь и непогоды
 Ясно слышалась въ тиши.
 Я внималъ, а сердце грѣлось
 Съ юга вѣющимъ тепломъ...
 Мнѣ и вѣрилось и пѣлось...
 Я внималъ и мнѣ хотѣлось
 Этой музыки во всемъ.

Благотворное дѣйствіе любви выражено и въ стих.: «Вчера священники...» (I, 158): въ день Свѣтлаго Христова Воскре-

сенья поэтъ чувствуетъ, какъ теплый лучъ любви подкрѣпляетъ его вѣру.

Изъ стихотвореній, воспѣвающихъ любовь, у Полонскаго самыя оригинальныя тѣ, въ которыхъ изображается прочная привязанность. Таковы: «Финскій берегъ» (I, 193) и «Старый орелъ» (I, 236). Въ первомъ изображена любовь въ народной трудовой средѣ, высказываемая съ неожиданнымъ равнодушіемъ, но заявляемая энергическимъ дѣломъ. Второе, одно изъ лучшихъ стихотвореній Полонскаго, изображаетъ привязанность, которую любящій готовится унести за предѣлы гроба.

Изъ стихотвореній этого рода особенно выдѣляются три, выражающія горе любящаго сердца при постигшей его утратѣ («Безуміе горя», I, 209; «Послѣдній вздохъ», I, 210, и «Я читаю книгу пѣсенъ», I, 211). Эти превосходныя стихотворенія поражаютъ разнообразіемъ, представляя три момента скорби, всякій разъ съ новой ея стороны.

Обзоръ нашъ лирики Полонскаго отъ начала его поэтической дѣятельности до 1887 года, стихотворенія котораго уже входятъ въ составъ «Вечерняго звона», заключимъ перечисленіемъ тѣхъ пѣсень, гдѣ художественное дѣйствіе на читателя поэтъ передаетъ цѣльнымъ законченнымъ созданіемъ своей фантазіи, которыя живутъ уже собственною жизнію, такъ что каждое подобное произведеніе вырастаетъ въ сжатую поэму или въ драматическую сцену. Кто разъ прочиталъ «Бѣду-проповѣдника» (I, 3), «Факира» (I, 24), «Весталку» (I, 52), «У Аспазіи» (I, 119), «Наядъ» (I, 150), «Агарь» (I, 155), «Вакханку и Сатира» (I, 289), «Казимира Великаго» (I, 361) — тотъ уже не забываетъ ихъ: такъ врѣзываются они въ душу читателя и яркостію образовъ и гармонією оригинальнаго стиха.

5.

Какія же думы волнуютъ нашего поэта нынѣ? какіе образы носятъ въ его фантазіи, вдохновляя его за предѣломъ полувѣка, посвященнаго творчеству?

Чаще и чаще обращается онъ къ мыслямъ о вѣчности. Вслушаться въ нихъ тѣмъ поучительнѣе, что мы знаемъ искренность поэта; въ теченіе долгаго поприща своего онъ внушилъ намъ полное довѣріе къ своему слову.

Эти мысли занимали Полонскаго и прежде, но выражались онѣ по ббльшей части въ стихотвореніяхъ, которыя, не претворяя ихъ въ истинно-поэтическіе образы, хотя мѣстами и согрѣты чувствомъ, — все же въ общемъ носили характеръ прозы (таковы: «Съ Богомъ боролся во снѣ», I, 390; «То въ темную бездну, то въ свѣтлую бездну», I, 463; «На кладбищѣ», II, 3). Правда, и они могутъ заставить читателя задуматься, порою мѣткимъ словомъ запечатлѣваютъ каждому близкія волненія мысли; но въ нихъ читатель не находитъ удовлетворенія. Поэтъ здѣсь выходитъ изъ своей области. Какъ бы краснорѣчиво ни бесѣдовалъ онъ, читатель все-таки будетъ чувствовать, что для своихъ размышленій найдетъ болѣе надежную опору въ сочиненіяхъ иного рода. Лишенные глубины и ясности, монологи поэта не замѣняютъ ему собесѣдника-мыслителя. Потому упреки, нерѣдко высказывавшіеся Полонскому въ неясности нѣкоторыхъ его произведеній и въ поверхностности его философіи, должны быть именно отнесены къ этому роду его лирики и признаны справедливыми.

Когда же мысль поэта, слѣдую своей природѣ, покидаетъ область отвлеченныхъ разсужденій, когда душа его загорается истиннымъ, ей сроднымъ, вдохновеніемъ и, покинувъ заботу о выраженіи какой-либо всеобщей истины, сосредоточивается на живомъ образѣ, и мысль поэта горитъ въ нѣдрахъ этого образа, а самые звуки запоетъ, проникая въ душу читателя музыкаю слова, — во сколько разъ шире и глубже и плодотворнѣе дѣйствіе и самой мысли поэта на читателя! Въ подлежащемъ нашей оцѣнкѣ новомъ сборникѣ, на 1-й же страницѣ, мы встрѣчаемся съ такимъ истинно-поэтическимъ произведеніемъ.

Въ обычномъ настроеніи поэтъ, какъ и всякій человѣкъ, привыкъ смотрѣть на свою старость, какъ на такую пору душевной жизни, когда онъ уже не чувствуетъ ничего общаго съ утрачен-

ными днями наивнаго дѣтства. Но вотъ въ одну изъ минутъ, когда вдругъ ощущаетъ онъ, что все бремя прожитой жизни словно исчезло, не замѣтно болѣе разстояніе между дѣтствомъ и настоящей минутой старости, когда вдохновеніе поднимаетъ поэта на ту высоту, съ которой эти моменты существованія сливаются въ одномъ великомъ представленіи жизни,—поэтъ въ изумленіи обращается къ своему дѣтству съ вопросомъ: для чего оно вос-
кресло вдругъ въ душѣ его? И онъ получаетъ знаменательный отвѣтъ изъ устъ этого дѣтства. Вотъ этотъ поэтическій діалогъ:

Дѣтство пѣжное, пугливое
Безмятежно-шаловливое—
Въ самый холодъ вешнихъ дней
Лаской матери пригрѣтое,
И навѣки мной отпѣтое
Въ дни безумства и страстей,
Нынѣ всѣми позабытое,
Подъ морщинами сокрытое
Въ нѣдрахъ старости моей —
Для чего ты вновь встревожило
Зимній сонъ мой — словно ожило
И повѣяло весной?
Оттого, что вновь мнѣ слышится
Голосокъ твой, легче ль дышится
Мнѣ съ поникшей головой! . . .
Не безъ думы, не безъ трепета
Слышу я наивность лепета:
— Старче! развѣ ты — не я?
Я съ тобой навѣки связано,
Мной вся жизнь тебѣ подсказана,
Въ ней сквозить мечта моя.
Не напрасно вновь являюсь я:
Твоей смерти дожидаюсь я,
Чтобъ припомнило и я
То, что въ дни моей безпечности

Я забыло въ нѣдрахъ вѣчности —

То, что было до меня.

Во сколько разъ глубже эти 27 стиховъ живого діалога захватываютъ мысль читателя, нежели страницы ринованныхъ размышлений о предсуществованіи души, о ея безсмертіи и т. п. Нужно ли говорить о красотѣ и силѣ, которыхъ достигъ здѣсь авторъ, заставивъ старца-поэта обратиться съ наивнымъ вопросомъ къ дѣтству, а дѣтскій лепетъ заставивъ дать отвѣтъ, достойный мудреца? Припомнивъ недовѣріе Полонскаго къ силѣ своей вѣры, мы оцѣнимъ, какъ необходимо было поэту помѣнять роли собесѣдниковъ этого поэтического діалога.

Другія стихотворенія новаго сборника, вызванныя мыслями поэта о «приближеніи къ началу своему», носятъ именно это знакомое намъ вѣяніе сомнѣній въ признаніяхъ робкой души. Таковы здѣсь «Стансы» (стр. 39) и «Не то мучительно . . .» (стр. 203).

Ярче всего мученія скептицизмомъ выразились въ «Стансахъ», начинающихся возвышеннымъ рѣшеніемъ разума, что
 . . . вѣчность

Одно спасеть и сохранить —

Божественную человѣчность.

Земля земную втянетъ плоть,

Въ мракъ унесетъ ея химеры,

Одна безсмертная любовь

Намъ оправдаетъ силу вѣры.

Но затѣмъ поэтъ сознается, что не обладаетъ тою твердостью духа, при которой это убѣжденіе могло бы оставаться въ немъ всегда непоколебимо. Стихотвореніе явилось плодомъ одной изъ минутъ смиреннаго сознанія, что его человѣческая природа чаще протестуетъ противъ этихъ рѣшеній разума:

Но вѣра скудная моя

Могучихъ крылъ не отростила:

Страшна ей вѣчность впереди

И омерзительна могила.

Этотъ душевный разладъ заставляетъ поэта тяжело вздохнуть въ заключеніи стихотворенія:

Быть человѣкомъ не легко —
Труднѣе, чѣмъ создать поэму,
Сломить врага, воздвигнуть храмъ,
Надѣть въ алмазахъ діадему.

Съ этими стансами родственно стихотвореніе:

Не то мучительно, чтó вѣчно страшной тайной
Въ недоумѣнье повергаетъ умъ...

Тайну бытія поэтъ не считаетъ мучительной потому, что она возвышаетъ его вдохновеніе и окрыляетъ его думы: мучительны для него безжалостныя рѣшенія разсудка:

Не міриады звѣздъ, что увлекаютъ духъ мой
Въ просторъ небесъ, холодный и нѣмой,
А искры жгутся — и одной изъ нихъ довольно,
Чтобъ я простылъ, сгорѣвъ душой.

Въ стих. «Вечерній звонъ», которымъ заключается сборникъ, поэтъ является передъ нами въ минуту исканія вѣры; снова влеченіе сердца направляетъ къ ней его маловѣрную душу:

Я къ ночи сердцемъ легковѣрнѣй,
Я буду вѣрить какъ-нибудь,
Что ночь, гася мой свѣтъ вечерній,
Укажетъ мнѣ на звѣздный путь.
Чу! колоколь... Душа поэта,
Благослови вечерній звонъ...

И вотъ въ ожиданіи смерти, которую поэтъ называетъ здѣсь «святою тѣнью», онъ чувствуетъ вѣяніе вѣчности:

Но жизнь и смерти призракъ міру
О чемъ-то вѣчномъ говорятъ,
И какъ ни громко пой ты, — лиру
Колокола перезвонятъ.

Въ такую благодатную минуту ему ясно, что вѣра — необходимое условіе для существованія генія, а утрата ея лишила бы человѣчество его высшей природы:

Безъ нихъ, въ пыли руинъ забытыхъ,
Исчезнуть геніи вѣковъ...
То будетъ адъ звѣрей насытыхъ
Или эдемъ полубоговъ.

Въ трехъ новыхъ произведеніяхъ поэтъ сосредоточивается на мысли о смерти. Въ стих.: «Зимой въ каретѣ» (стр. 43) передъ нами задушевное признаніе старика, что онъ не чувствуетъ себя созрѣвшимъ для смерти. «Заботливаго слугу страстей», его еще волнуютъ грѣзы былой любви. Онъ согрѣваетъ его, но тѣмъ грустнѣе минута отрезвленія. Поэтъ представляетъ себя въ морозный вечеръ ѣдущимъ въ каретѣ. Путь этотъ — символъ поздней поры его жизни.

И снится мнѣ — въ холодномъ свѣтѣ
Еще есть теплый уголокъ:
Я не одинъ въ моей каретѣ —
Вотъ-вотъ сверкнулъ ея зрачокъ:...
Я весь въ пару ея дыханья —
Какъ мнѣ тепло на зло зимѣ!
Какъ сладостно благоуханье
Весны въ морозной полутьмѣ!
Очнулся — и мечта поблекла —
Опять румяный отъ огней
Морозъ забрасываетъ стекла
И вѣетъ холодомъ. Злодѣй!
Онъ поглядѣлъ, какъ сердце билось,
Любовь, и страсти, и мечты
И вздохъ мой — все преобразилось
Въ кристаллы, звѣзды и цвѣты.
Ткань ледяного ихъ узора
Вросла въ края звенящихъ рамъ,
И нѣтъ глазамъ моимъ простора,
И нѣтъ конца слѣпымъ мечтамъ!
Мечтать и дрогнуть не хочу я,
Но — каждый путь ведетъ къ концу,

И скоро, скоро подкачу я
Къ гостепріимному крыльцу.

Несмотря на грустное содержаніе, стихотвореніе не производитъ тягостнаго впечатлѣнія: чувство поэта растворено тономъ кроткаго юмора, въ которомъ ведется монологъ изображеннаго въ немъ старика. А грѣзы прошлаго, замѣняющія ему наслажденія настоящимъ, котораго еще требуетъ его душа, набрасываютъ на его тихую скорбь поэтическій колоритъ. Это одно изъ характернѣйшихъ произведеній музыки Полонскаго, умѣющей разрѣшать душевные диссонансы въ тихіе гармоническіе аккорды, въ которыхъ едва слышатся грустныя ноты и которые звучатъ мирно и безболѣзненно.

По основной темѣ къ этому стихотворенію близки два другія, также вошедшія въ новый сборникъ. Первое изъ нихъ — «Умирающій лебедь» проведено однакоже въ иномъ тонѣ. Душа поэта настроена здѣсь выше; въ немъ болѣе силы. Если въ первомъ художественная красота проявлена только въ живописи; то здѣсь, согласно болѣе страстному содержанію, краски болѣе поддержаны музыкою стиха. Старый лебедь готовится къ смерти среди окружающей его суеты жизни, уже ему чуждой. Онъ помышляетъ о полетѣ къ небу, готовится къ своей послѣдней пѣснѣ, которую тайлъ отъ суетной толпы, теперь нарушающей тишину сада праздничными огнями и музыкой.

Пѣлъ смычокъ, въ садахъ горѣли
Огоньки, сновалъ народъ,
Только вѣтеръ спалъ, да темень
Былъ ночной небесный сводъ.
Темень былъ и прудъ зеленый
И густые камыши,
Гдѣ томился бѣдный лебедь,
Притаясь въ ночной тиши.

.....

Онъ глаза смыкалъ и грезилъ
О полетѣ выше тучъ:

Какъ въ просторъ небесъ высоко
 Унесетъ его полетъ,
 И какую тамъ онъ пѣсню
 Вдохновенную споетъ.
 Какъ на все, на все святое,
 Чтó тайлъ онъ отъ людей,
 Тамъ откликнутся родныя
 Стаи бѣлыхъ лебедей.

.....

Но крыло не шевелилось,
 Пѣсня путалась въ умѣ:
 Безъ полета и безъ пѣнья
 Умиралъ онъ въ полутьмѣ.
 Сквозь камышъ, шурша по листьямъ,
 Пробирался вѣтерокъ...
 А кругомъ въ садахъ горѣли
 Огоньки, и пѣлъ смычокъ.

Порывъ остался мечтою. По знакомому намъ свойству поэта, онъ отказалъ и своему воплощенію въ той силѣ духа, которая вознесла бы его не въ грѣзахъ только, но наяву въ міръ иной, гдѣ раздалась бы его свободная пѣсня. Но сколько душевной жажды въ этомъ отказѣ удовлетворить ей!

Третье стихотвореніе, въ которомъ поэтъ выражаетъ свое душевное состояніе на склонѣ дней—посланіе къ Н. И. Лорану. Это—задушевная жалоба на то, что онъ, еще хранящій въ себѣ много душевныхъ даровъ, не можетъ ощутить полной отрады среди неблагоприятныхъ явленій окружающей дѣйствительности.

Плохо вижу я дорогу:
 Но, шагая рядомъ, въ ногу,
 Съ неотзывчивой толпой, —
 Страсти жаръ неутоленной,
 Холодъ мысли непреклонной,
 Жажду правды роковой
 Я несу еще съ собой.

Согласно неоднократно выраженной поэтомъ потребности впечатлѣній ясныхъ, и здѣсь онъ высказываетъ этотъ душевный голодъ:

Но повѣрь мнѣ, ноша эта
 Мнѣ была бы нипочемъ,
 Если бъ только было лѣто
 И дышалось бы тепломъ.
 Мнѣ бъ казался путь не дологъ,
 Если бъ солнечныхъ небесъ
 Голубой, прозрачный пологъ
 Окаймлялъ зеленый лѣсъ,
 Если бъ въ полѣ пѣли птицы,
 А за пашней, на юру
 Полоса густой пшеницы
 Колыхалась на вѣтру (стр. 5 и 6).

Въ сборникѣ есть еще три стихотворенія, въ которыхъ мысль поэта обращается къ тайнамъ бытія и въ которыхъ онъ пытается расширить область занимающихъ его вопросовъ, уже не ограничиваясь сферою личной судьбы. Первое изъ нихъ: «Въ хвойномъ лѣсу» (стр. 33), къ сожалѣнію, принадлежитъ къ тѣмъ полу-прозаическимъ монологамъ, о которыхъ мы говорили выше. Этотъ монологъ не отличается ни глубиною мысли, ни языкомъ, который соотвѣтствовалъ бы серьезности предмета: Тема его выражена въ двухъ стихахъ:

Какъ загадочны и темны
 Откровенья Божества!

Стоила ли эта мысль развитія на трехъ страницахъ? Самый выборъ вопросовъ, неразрѣшимость которыхъ вызвала у поэта это восклицаніе, неудаченъ: для чего нужны птицамъ гнѣзда? и для чего муравьи предпринимаютъ свои постройки? Гораздо лучше рѣшеніе, къ которому приходитъ поэтъ, отвергнувъ праздные вопросы:

Но къ чему такія рѣчи?
 Все, что любить и живетъ,
 Безъ конца творить и любить;
 Все бесплодно, что гнететъ...
 Цѣль темна, любви безъ цѣли,
 Защищайся безъ вражды,
 И не жди въ минуту счастья
 Ни разгрома, ни нужды.

За исключеніемъ неожиданнаго противоположенія «гнета» любви и жизни (въ 1-й изъ этихъ строфъ), голосъ природы напелъ здѣсь стройное выраженіе. Обѣ строфы западаютъ въ память—такъ онѣ хорошо выражены. Въ послѣдней части стихотворенія для выясненія своей темы авторъ допустилъ наивное предположеніе, что если бы онъ могъ передать муравьямъ свои познанія о мірѣ, то не встрѣтилъ бы съ ихъ стороны довѣрія къ себѣ. Въ заключеніе авторъ приходитъ къ мысли, что лучше не тревожить муравьевъ этимъ человѣческимъ откровеніемъ, потому что вѣдь самъ онъ также не понимаетъ откровеній Божества. Курьезное предположеніе отомстило за себя небрежнымъ и отталкивающимъ языкомъ, которымъ выражена строфа, его высказывающая:

Я бы могъ *развить* 'умы ихъ...
 Но, *мозгами шевеля*,
 Муравьи *малолз* мой примутъ
 За фантазію *враля*.

Языкъ ли это поэта? Такъ ли выражается гамлетовская иронія, которую, вѣроятно, хотѣлъ отгнѣнить здѣсь Полонскій? Въ стихотвореніи поэта, умѣющаго мастерски владѣть поэтическимъ языкомъ, странно встрѣтить подобную рѣчь. Выше мы замѣтили, что въ большинствѣ стихотвореній Полонскаго крайняя простота языка не преступаетъ предѣловъ, за которыми начинается область тривіальнаго. Указанная теперь строфа можетъ служить примѣромъ того, какъ поэтъ изрѣдка преступаетъ эти предѣлы,

словно забывая различіе между простотою и распущенностію рѣчи.

Совсѣмъ иного характера второе изъ указанныхъ стихотвореній. Оно озаглавлено: «На мотивъ одной старой французской легенды» (стр. 49).

Стройнымъ 4-хъ-стопнымъ хореемъ безъ рима повѣствуется здѣсь о безпріютномъ мальчикѣ, которому люди отказали въ краюшкѣ хлѣба. Не найдя помощи на землѣ, мальчикъ обратилъ мысли къ небу:

Ахъ! когда бъ я былъ съ крылами,
Думалъ онъ, я все бы небо
Облетѣлъ и ужъ досталъ бы
Я себѣ краюшку хлѣба!

Эту думу наивнаго мальчика подслушалъ злой демонъ. Онъ далъ ему невидимыя крылья, и мальчикъ помчался въ безпредѣльное міровое пространство. Но съ помощію крыльевъ злого демона онъ увидѣлъ въ далекихъ сферахъ лишь механическое безжизненное и бездушное міроустройство: луна оказалась холодной глыбой, солнце пламенемъ газа; нигдѣ не было сострадательной души, которая накормила бы бѣднаго мальчика. Черезъ тысячу столѣтій опустился онъ снова на землю, но и она стала уже пустыннымъ шаромъ.

И на холмъ у ледяного
Моря сѣлъ голодный мальчикъ
И, забывъ свои страданья,
Сталъ о людяхъ горько плакать.

Тутъ увидѣлъ его ангелъ и позвалъ съ собою, обѣщая показать ему искомаго имъ человѣка.

Но куда его помчалъ онъ —
Тайны этой не постигнетъ
Міръ, возникнувшій изъ праха;
Только демонъ ея бредитъ,
Но — земля его не слышитъ.

Легенда цѣльна и стройна, и тонъ ея выдержанъ отъ начала до конца. Нельзя того же сказать о послѣднемъ изъ философскихъ стихотвореній новаго сборника, хотя нельзя отрицать въ немъ грандіозности и яркости нѣкоторыхъ картинъ. Оно носитъ заглавіе: «Фантазія» (стр. 91). Въ немъ изображается значеніе фантазіи въ развитіи человѣчества. Начинается оно картиною жизни первобытныхъ людей, когда человѣкъ

... чему-то смутно вѣрилъ;

Но не молился и не измышлялъ

Ни алтарей, ни жертвоприношеній.

А на землѣ носился вѣчный геній,

И небу и землѣ родной,

Полуземной, полунебесный,

Никѣмъ невидимый, неслышный, неизвѣстный.

Видя низменную жизнь человѣка, этотъ духъ, назначеніе котораго — «оберегать и звать къ Божественному свѣту того, кто выше одаренъ», въ уныніи обращается къ Богу съ сомнѣніемъ въ томъ, чтобы люди могли постигнуть Творца своего, когда и онъ, свидѣтель мірозданія, не постигаетъ Его.

И вотъ, какъ тихій звонъ, благую вѣсть несущій,

Раздался Божій гласъ на гласъ, его зовущій:

— Я шлю Фантазію. Прими ее, какъ дочь

Моей любви; она тебѣ поможетъ...

Пусть каждый вѣритъ Мнѣ, по мѣрѣ силъ, какъ можетъ.

Фантазія явилась и начала свое творческое дѣло. Но грубое человѣчество вновь повергаетъ въ уныніе духа-просвѣтителя. Его оскорбляетъ, что люди дѣйствіемъ фантазіи признали грубый обломокъ скалы за своего бога, и онъ снова обращается съ жалобою къ Творцу:

Бездушной плоти поклонилась плоть

Одушевленная!... О, не внимай, Господь,

Ихъ суетной мольбѣ и дикому ихъ кличу;

Фантазію изъ міра отзови...

Въ отвѣтъ Творца разъясняется медленный путь развитія оду-

шевленной плоти и предсказывается, что въ концѣ концовъ, благодаря той же фантазіи, человѣчество постигнетъ Сущаго настолько же, насколько самъ духъ постигаетъ Его.

Стихотвореніе это страдаетъ длиннотами и неравномѣрностію частей. Второстепенныя части, преимущественно описательныя, излишне распространены сравнительно съ главною частию, къ которой сосредоточено вниманіе читателя. За яркою картиною первобытной природы и человѣка съ изображеніемъ носящагося надъ землею духа-просвѣтителя, слѣдуетъ опять описательная часть: совсѣмъ не нужная сцена изъ жизни дикарей, повторяющая тѣ же черты ихъ, которыя только что даны въ предыдущей картинѣ. Излишество этой сцены чувствуется тѣмъ болѣе, что вскорѣ послѣ нея слѣдуетъ вновь описательная часть (сцена ночная, при появленіи Фантазіи).

Эти недостатки первой части по крайней мѣрѣ искупаются яркими красками описаній. Но тѣмъ слабѣе является послѣдняя часть: второй діалогъ Духа съ Богомъ. Жалоба духа (въ которую вновь внесено излишнее описаніе) лишена чувства, а отвѣтъ Бога крайне прозаиченъ; напр.:

И возрастутъ иныя поколѣнья,
И, водворяя власть любви и красоты
И человѣчности, Фантазія страданью
Дастъ высшій смыслъ и поведетъ
Отъ созерцанья къ міросозерцанью....

Истинная поэзія никогда не заставляетъ Божество говорить языкомъ философскихъ статей, и нѣтъ никакихъ основаній отступать при созданіи вѣщаній Божества отъ образа, который данъ для того въ поэтическомъ языкѣ библейскомъ. Тѣмъ болѣе непростительно было автору допустить въ словахъ Бога предательское пониженіе рѣчи, о которомъ было говорено выше по поводу стих.: «Въ хвойномъ лѣсу». Возможны ли въ ней выраженія такого рода:

... Нехитрому умѣнью
Добыть огонь — звѣрье кто можетъ научить?

6.

Въ сборникѣ есть два стихотворенія, въ которыхъ авторъ высказываетъ свои думы о современномъ европейскомъ поколѣніи. Ихъ можно назвать сатирическими, хотя чувство автора въ нихъ не растворено ни ярко выраженнымъ смѣхомъ, ни пламеннымъ негодованіемъ. Они ведутся въ томъ среднемъ тонѣ, который свойственъ утомленному огорченіемъ человѣку—условіе, отнимающее много силы у впечатлѣнія.

Въ обоихъ стихотвореніяхъ—думы безотрадныя: идеализмъ поэта оскорбляется матеріализмомъ и милитаризмомъ вѣка, а вмѣстѣ съ тѣмъ и неискренностію провозглашеній любви, правды и свободы въ современномъ обществѣ.

Первое изъ этихъ стихотвореній («Золотой телець», стр. 20) подъ символомъ золотого тельца Израилѣтянъ представляетъ силу корысти современнаго человѣчества. Въ началѣ воспроизведена библейская картина ниспроверженія тельца Моисеемъ по возвращеніи съ Синая.

Но въ оны дни и не высокъ,
И малъ былъ золотой божокъ;
И не оставили его
Лежать въ пустынь одного,
Чтобъ вихри вьющимся столбомъ
Не замели его пескомъ;
Тайкомъ Израйля сыны,
Лелѣя золотые сны,
Въ обѣтованный край земли
Его съ собою унесли.
Тысячелѣтія прошли
Съ тѣхъ поръ — божокъ ихъ росъ, все росъ
И выросъ въ міровой колоссъ . . .
Всевластнымъ богомъ сталъ кумиръ . . .

Описавъ послѣдствія его власти, поэтъ спрашиваетъ:

Скажите же, съ какихъ высотъ
Къ намъ новый Моисей сойдетъ?

Вѣдь если бѣ вдругъ упалъ такой
Кумиръ всесвѣтно-роковой,
Языческій, землѣ родной,—
Какой бы вдругъ раздался стонъ!
Вѣдь помрачился бѣ небосклонъ
И дрогнула бы ось земли!...

Ясно поставленная мысль въ началѣ стихотворенія, къ сожалѣнію, затемнена тремя послѣдними стихами, въ которыхъ авторъ пытался выразить возможный исходъ изображеннаго зла:

Не бойтесь, не пророки къ намъ
Сойдутъ съ высотъ, а развѣ самъ
Вочеловѣчившійся Богъ.

А такъ какъ въ этомъ окончаніи должна бы сосредоточиться вся сила стихотворенія, то при такомъ заключеніи оно производитъ впечатлѣніе чего-то недоконченнаго, недоговореннаго или сказаннаго на-двое.

Для второго стихотворенія («Живая статуя», стр. 195) авторъ избралъ форму аллегоріи. Онъ самъ заявляетъ во вступленіи, что тревожная его фантазія «какъ бы сквозь сонъ» создаетъ эту аллегорическую статую Европы наканунѣ XX-го столѣтія. Европа олицетворена въ видѣ колоссальной женщины, обремененной тяжелою ношею, заключающею всевозможные аксессуары современнаго быта: предметы роскоши, гербы и золото, желѣзо, пушки и бомбы и т. п. У ногъ ея пигмеи съ пушками печатныхъ листовъ и продуктами жалкаго искусства, просящіе у нея славы и золота. Не будемъ перечислять подробно всѣ предметы, нанизанные здѣсь авторомъ на нить своей мысли, не глубокой и не оригинальной. Скажемъ только, что стихотвореніе не производитъ впечатлѣнія и напоминаетъ тѣ грубоватые наброски, которыми украшаются первыя страницы иллюстриро-

ванныхъ листовъ такъ называемой «малой прессы». Въ согласіи съ такимъ непозитическимъ содержаніемъ и языкъ стихотворенія.

7.

Полную противоположность съ этими мало-поэтическими или непозитическими стихотвореніями составляютъ произведенія, при созданіи которыхъ точка отправленія несомнѣнно находится въ фантазіи автора, а не въ области его разсудка. Лучшія изъ нихъ въ новомъ сборникѣ, кромѣ разобранныхъ выше: «Орелъ и голубка» (стр. 3), «Эротъ» (12), «У двери» (13), «Подросла» (52), «Неотвязная» (189) и «Кассандра» (179).

Въ первомъ изъ этихъ стихотвореній поэтическое впечатлѣніе производитъ первая половина, гдѣ изображенъ орелъ, внявшій мольбѣ пойманной имъ голубки, въ контрастѣ съ бездушной морской стихіей:

И сдѣлалась добычей бури
Добыча мощнаго орла...
Увы, бездушная стихія
Ея молитвъ не приняла.

Къ сожалѣнію, впечатлѣніе ослаблено второю половиною, гдѣ представленъ великодушный орелъ въ ожиданіи новой добычи, которую «укажетъ ему Господь». Безтактно обстоятельное перечисленіе той добычи, которой ожидаетъ онъ, сидя на скалѣ и точа свой клювъ: читателю невольно приходитъ на мысль, что милосердіе орла можетъ оказаться очень выгодною для него сдѣлкою: серна, гусь, а тѣмъ болѣе стадо могутъ сторицею вознаграждать его за утраченнаго голубя. Если бы стихотвореніе ограничилось первою половиною, то впечатлѣніе его было бы сильно и поэтично и заключало бы вполне законченную мысль. Между тѣмъ двойственность стихотворенія даже наводитъ на мысль, не съ намѣреніемъ ли авторъ допустилъ ее: не пытался ли онъ выразить пессимистическую мысль объ относительности даровъ милосердія и объ иллюзіи его. Если было таково намѣреніе автора, то слѣдовало бы поставить самый образъ яснѣе и не опираться не-

избѣжности зла въ самыхъ добрыхъ дѣяніяхъ на Господню волю.

Зато какою свѣжестью фантазіи и силою ея, стройностью цѣлаго и выразительностію музыкальнаго стиха отличаются три стихотворенія, воспроизводящія поэтическія фигуры, одушевленные чувствомъ любви въ стихотвореніяхъ: «У двери», «Подросла» и «Неотвязная». Во всѣхъ нихъ съ художественною простотою воплощена жизнь сердца отъ неясныхъ порывовъ первой любви до привязанности горячаго сердца, твердо сознающаго свою силу.

Первое стих.: «Подросла» имѣетъ форму наивнаго признанія юной дѣвушки, недоумѣвающей передъ властію охватившаго ее перваго чувства. Второе («У двери») — небольшая мѣщанская драма. Наивный герой ея переживаетъ цѣлый рядъ надеждъ, сомнѣній, ужаса, стоя подъ чердакомъ у двери своей милой: и всѣ эти волненія оказываются порожденными его возбужденной фантазіей, когда онъ узнаетъ, что простоялъ половину ночи передъ дверью пустой комнаты.

Третье стих. («Неотвязная») принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ Полонскаго. Это одно изъ тѣхъ представленій любви, о которыхъ мы говорили выше, какъ особенно удающихся нашему поэту: въ горячемъ монологѣ здѣсь высказана привязанность, которой отдаются одинъ разъ на всю жизнь безповоротно. Выписываемъ его вполнѣ:

О! что хочешь, говори!
 Я не дамъ себя въ обиду.
 Я вѣрна тебѣ, — и я
 Отъ тебя живой не выйду.
 Пусть бранять меня, зовутъ
 Невозможной, неотвязной!
 Для меня любовь — клянусь! —
 Не была забавой праздной;
 Я повѣрила твоей
 Клятвѣ вѣчной, непритворной,
 И соперницѣ не дамъ
 Разорвать союзъ нашъ кровный...

Закаленная нуждой,
Отрицаемая свѣтомъ,
Я къ распутнымъ не пойду
За спасительнымъ совѣтомъ.
Пусть расчетъ ихъ вѣренъ, пусть
Имъ потворствуютъ законы,
Никому твоей любви
Не продамъ за миллионы!
Бей меня или убей!
Я твоя, твоей умру я,
Съ вѣчной жаждою любви,
Нѣжныхъ ласкъ и поцѣлюя.
Гдѣ бы ты ни пропадалъ,
Съ кѣмъ бы ни былъ, — на порогѣ
Будетъ тѣнь моя стоять —
Не сойдетъ съ твоей дороги.
Сколько бъ ты ни измѣнялъ,
Чтѣ бъ ни дѣлалъ, другъ мой милый!
До могилы ты былъ *мой*,
Будешь *мой* и за могилой.

Нельзя не признать (даже несмотря на одинъ промахъ въ приемѣ 3-й строфы), что это стихотвореніе выше всѣхъ прежнихъ, аналогичныхъ ему по темѣ, о которыхъ упоминали мы выше. Подобные голоса сердца съ ихъ музыкою и логикою чувства — торжество лирики Полонскаго.

Къ сожалѣнію, онъ не потерялъ вкуса и къ тому гейневскому представленію беззавѣтныхъ чувствъ, которое было въ модѣ лѣтъ 40—30 тому назадъ въ нашей литературѣ, какъ очаровательная маска, внезапно снимаемая для обличенія безсердечія. Не замысловатый эффектъ этотъ состоитъ въ томъ, что граціозное выраженіе чувства, тщательно охраненное отъ всякаго сомнѣнія въ его искренности, внезапно обрывается диссонансомъ, разрушающимъ все очарованіе пѣсней. Въ новомъ сборникѣ Полонскій отдалъ дань этой манерѣ въ стихотвореніи «Они»

(стр. 29). Тѣмъ не менѣе вся положительная часть пѣсни такъ хороша, что стихотвореніе можно причислить къ лучшимъ изъ лирическихъ пѣснь Полонскаго. Вотъ это стихотвореніе, въ которомъ такъ удачно примѣнены размѣръ и движеніе стиха «Царскосельскаго лебедя» Жуковскаго:

Какъ они наивны
И какъ робки были
Въ дни, когда другъ друга
Пламенно любили!
Плакали въ разлукѣ,
Отъ свиданья млѣли...
Обрывались рѣчи...
Руки холодѣли;
Говорили взгляды,
Самое молчанье
Устъ ихъ было громче
Всякаго признанья.
Голось, шорохъ платья,
Рукъ прикосновенье
Въ сердце ихъ вливали
Сладкое смятенье.
Разъ, когда надъ ними
Золотыя звѣзды
Искрами живыми,
Чуть дрожа, мигали,
И когда надъ ними
Вѣтви помавали,
И благоухала
Пыль цвѣтовъ, и легкій
Вѣтерокъ въ куртинѣ
Сдерживалъ дыханье...

Полночь имъ открыла
Въ трепетѣ лобзанья,

Въ тайнѣ поцѣлуевъ —

Тайну мірозданья...

И осталось это

Чудное свиданье

Въ памяти навѣки

Разлученныхъ рокомъ,

Какъ воспоминанье

О какомъ-то счастьѣ

Глупомъ и далекомъ.

Къ пьесамъ, живописующимъ такъ полно жизнь сердца, должно отнести въ новомъ сборникѣ и стих.: «Любви не боялась ты, сердцемъ созрѣвшая рано» (стр. 7). Оно имѣетъ форму утѣшенія, съ которымъ поэтъ обращается къ «жертвѣ неволи, страстей и обмана», которая мучится своимъ позоромъ и боится упрековъ. Указавъ на то, какъ мало имѣютъ права люди на эти упреки, поэтъ заключаетъ свое кроткое увѣщаніе такъ:

И все, что въ тебѣ было дорого, чисто и свято,

Для любящихъ будетъ такимъ же священнымъ казаться;

И щедрое сердце твое будетъ такъ же богато —

И такъ же ты будешь любить и, любя, улыбаться.

8.

Намъ остается сказать о двухъ стихотвореніяхъ, для которыхъ поэтъ заимствовалъ образы изъ античнаго міра: «Эротъ» (стр. 12) и «Кассандра» (стр. 179).

Полонскій обыкновенно такіе образы не воспроизводитъ вполне объективно, т. е. съ цѣлію неприкосновенно повторить античную фигуру или мифологическую сцену исключительно ради ихъ собственной художественной цѣны. Онъ пользуется такими сюжетами для собственныхъ лирическихъ цѣлей, внося въ традиціонные образы свои новые мысли. Но въ этомъ примѣненіи имъ всегда соблюдается тактъ, свидѣтельствующій о тонкомъ художественномъ чувствѣ автора. Новизна и субъективность влагаемыхъ въ такія сцены мыслей нисколько не противорѣчитъ

характеру избранныхъ образовъ, потому что поэтъ облачаетъ въ эти образы идеи общечеловѣческія. Только при этомъ условіи возможно впольнѣ избѣжать противорѣчія между содержаніемъ и формою, что бываетъ неминуюемо, когда пользуются неумѣло классическими образами и приносятъ ихъ въ жертву не соотвѣтствующему имъ содержанію, что сообщаетъ имъ уже характеръ пародіи.

Въ стих.: «Эротъ», сцена на Олимпѣ, Эротъ смутилъ боговъ тѣмъ, что заигралъ на священной лирѣ Аполлона. Только самъ владыка божественныхъ пѣсенъ добродушно предоставилъ баловню Зевса продолжать игру, снисходя къ потребностямъ смертныхъ и нимфъ, которые, томясь любовью, цѣнятъ и такія пѣсни, предпочитая ихъ, быть можетъ, музыкѣ Аполлона. Полонскій беретъ здѣсь подъ защиту свободу поэзіи, не ограничивая права на нее лишь творчествомъ избранныхъ. Но уступка эта, столь естественная со стороны поэта, чуждаго всякаго высокомерія, горячаго сторонника терпимости, сдѣлана съ рѣдкимъ тактомъ, какъ подобаетъ служителю строгой красоты: онъ заставляетъ высказать ее самого Аполлона, въ устахъ котораго, безъ нарушенія упомянутой выше вѣрности античнымъ представленіямъ, она не можетъ быть высказана иначе, какъ съ снисходительнымъ чувствомъ творца истинной поэзіи, сознающаго свое неизмѣримое превосходство, по-эллински самодовольнаго въ своей увѣренности, что уступка его не можетъ нанести оскорбленіе истинному искусству. Трудно выбрать болѣе удачный образъ для мысли автора, которой такъ легко оказаться рискованною подъ перомъ поэта меньшей силы. Полонскому она оказалась по плечу — и вотъ лучшее доказательство, что мы имѣемъ дѣло съ истиннымъ поэтомъ-художникомъ, который даетъ себя знать всякій разъ, какъ его посѣтитъ истинное вдохновеніе. Въ стих.: «Эротъ» мы видимъ сочетаніе высоты идеала съ движеніемъ сердца, согрѣтаго человѣческимъ чувствомъ. Въ стихотвореніяхъ, имѣющихъ предметомъ поэзію, это достоинство рѣдкое: болышею частію авторы этотъ тонкій вопросъ рѣшаютъ или докторальнымъ то-

номъ въ смыслѣ холоднаго жречества, или малодушно поступающъ высокою идеала.

Нравственный образъ Кассандры, созданный Эсхиломъ, Еврипидомъ и греками позднѣйшей эпохи, а также у римлянъ Вергиліемъ, неоднократно воспроизводился поэзіею и новой Европы. Наиболѣе популярное изображеніе ея принадлежитъ Шиллеру въ его балладѣ «Кассандра», переведенной и на русскій языкъ Жуковскимъ.

Она является уже у Гомера, не упоминающаго о дарѣ предвидѣнія, которымъ надѣлилъ ее Аполлонъ: онъ ограничивается вѣнчаніемъ ея изображеніемъ, сравнивъ ее по красотѣ съ золотою Афродитою. Еврипидъ въ своихъ «Троянкахъ» изображаетъ ее уже надѣленною роковымъ даромъ. Въ лирическомъ монологѣ и въ сценѣ съ матерью Гекубою она является у него плѣнницею Агамемнона въ моментъ передъ отправленіемъ изъ Трои въ Аргосъ; въ изступленіи представляетъ она себя невѣстою царя-побѣдителя, съ факеломъ Гименея въ рукѣ, приглашающей мать начать брачную пляску. Восторженные хвалы побѣжденной соотечественникамъ соединяются у нея съ пророчествомъ гибели Атридовъ и своей собственной. Она удаляется, чтобъ вступить на корабль съ сознаниемъ, что сойдетъ въ царство мертвыхъ побѣдительницей, разрушивъ домъ Атридовъ, погубившихъ ея родину. У Эсхила Кассандра изображена въ моментъ пріѣзда ея въ Аргосъ. Вѣщая дѣва пророчествуетъ здѣсь о убіеніи Клитемнестрою Агамемнона, о грядущемъ прекращеніи кровавой мести и о собственной гибели. Эсхилова Кассандра покоряется судьбѣ и удаляется со сцены съ послѣднею мольбою къ Аполлону о мщеніи за себя. Здѣсь же она объясняетъ, что за неисполненіе обѣта любви предъ Аполлономъ гнѣвъ бога поразилъ ее тѣмъ, что пророчествамъ ея никто не давалъ вѣры. Эту казнь Аполлона особенно выдвинулъ Вергилій: Эней повѣствуетъ, какъ троянцы, спокойно ликуя, украшали храмы боговъ, безъ вѣры внимая Кассандрѣ, разрѣшившей вѣщій языкъ (Эн. 246, 247), и какъ даже юный Коребъ, горѣвшій къ ней любовью, не повѣрилъ ея

порицаніямъ, и — наконецъ — какъ, оковавъ ея руки, изъ храма Паллады влекли за волосы ея, тщетно подъемящую пламенные очи къ темному небу — и она исчезаетъ изъ нашихъ глазъ въ смятеніи боя, въ которомъ погибъ ея Коребъ, бросившійся на ея выручку. Шиллеръ изъ всѣхъ обстоятельствъ жизни Кассандры избралъ именно муку всезнанія, встрѣчаемаго общимъ недоумѣніемъ, когда она среди блеска и ликованій брачнаго торжества сестры своей Поликсены провидитъ и гибель ея жениха и разрушеніе Трои.

«Кассандра» Полонскаго задумана вполне оригинально. Его фантазія остановилась на одномъ намекѣ въ діалогѣ Эсхиловой Кассандры съ хоромъ въ его «Агамемнонѣ». На вопросы хора о любви Аполлона къ ней, она сознается, что дала обѣтъ любви и не сдержала слова. Баллада Полонскаго есть самостоятельное воспроизведеніе сцены, предшествующей всѣмъ сценамъ, изображавшимъ доселѣ Кассандру, какъ бы въ отвѣтъ на вопросъ Эсхилова хора по поводу этого сознанія Кассандры: «Ужъ получивъ сперва даръ прорицанья?», на который у Эсхила не послѣдовало отвѣта.

Поэту предстояло изобразить свиданіе Кассандры съ Аполлономъ. Въ идеѣ сближенія смертной съ божествомъ, гражданки, раздѣляющей тревоги родного города, съ чуждымъ этимъ заботъ небожителемъ — центральный пунктъ, который зажегъ фантазію Полонскаго. У него Кассандра выпрашиваетъ сама даръ предвидѣнія, озабоченная судьбою отчизны — черта новая, но вполне согласная съ античнымъ представленіемъ гражданскихъ чувствъ Кассандры у Еврипида. Богъ исполняетъ ея просьбу, надѣясь, что открывшаяся ей судьба родного края упразднитъ ея заботы о немъ, и она покинетъ родной городъ такъ же, какъ онъ покинулъ для нея своды неба. Въ порывѣ любви онъ зоветъ ее въ благодатный край грезъ, сновъ, розъ и соловьиныхъ пѣсень. Но не для сладкаго забвенія послужилъ страшный даръ Кассандрѣ. Ужаснувшись представшей очамъ ея гибели Трои, она вырвалась изъ объятій бога — и была отдана во власть тѣхъ

мученій, которыя послужили главнымъ сюжетомъ для Вергилія, Еврипида и Шиллера..

Сцена этого рокового свиданія написана съ мастерствомъ и исполнена поэзіи. Описательная часть, не нарушая стройности драматической сцены, какъ разъ въ мѣру набрасываетъ обстановку событія и неразрывна съ повѣствованіемъ, какъ то бываетъ въ безыскусственномъ эпосѣ. Фигуры Кассандры и Аполлона пластичны и одушевлены жизнію. Главный моментъ сближенія набросанъ чертами правдивыми и выраженъ языкомъ, соотвѣтственнымъ сюжету. Размѣръ стиха авторъ удержалъ тотъ, который усвоенъ нашей литературѣ для балладъ этого рода Жуковскимъ, въ свою очередь заимствовавшимъ его у Шиллера.

Въ предразсвѣтный часъ утра, когда еще пылающіе взаимной враждою Данаи и Троянцы спали,

... Кассандра легче тѣни,
Не спѣша будить отца,
Проскользнула на ступени
Златоверхаго дворца;
И въ семьѣ никто не знаетъ —
Кто проснулся, чей хитонъ
Бѣлымъ призракомъ мелькаетъ
Въ сонномъ сумракѣ колоннъ.
Ей въ лицо прохлада дышитъ,
Ночи тѣнь въ ея очахъ,
Складки длинныя колышетъ
Удаляющійся шагъ.

Такъ дѣва, вызванная чрезъ жреца Аполлономъ, вступила въ сѣнь священной рощи. Слѣдуетъ появленіе бога:

Алый блескъ зари струится...
Это онъ идетъ... не сонъ...
На яву Кассандрѣ снится
Свѣтозарный Аполлонъ.

Въ отвѣтъ Кассандры на высказанную богомъ любовь къ ней — вся ея возвышенная душа, но уже изъ этой рѣчи предчувствуется невозможность любви ея къ небожителю:

Въ мірѣ вѣчныхъ ликованій,
Посреди воздушныхъ странъ,
Ты не вѣдаешь страданій,
Ты не знаешь нашихъ ранъ . . .
Слезъ твои не знаютъ очи,
И тебѣ невѣдомъ страхъ;
Ни одной безсонной ночи
Не провелъ ты въ небѣсахъ.

.
Полюбила бъ я, быть можетъ,
Да любви мѣшаетъ стыдъ,
Участь родины тревожить,
Неизвѣстность тяготить.

.
Я устала ненавидѣть —
Я любить хочу, но знай,
Я, любя, хочу предвидѣть —
Даръ предвидѣнья мнѣ дай.

Богъ даетъ ей даръ, призывая, какъ сказано было выше, въ беззаботную страну грёзъ.

Ароматный, знойно-сладкій
Не зефиръ ли опахнулъ
Грудь и плечи ей, и складкой
Бѣлой ткани шевельнулъ . . .
Лучъ блуждающей надежды
Озарилъ ея черты,
Красота склонила вѣжды,
Устыдясъ своей мечты.
Но волшебной рѣчи сила
Разливала жаръ въ крови,

И ужъ все готово было
 Къ торжеству его любви...
 Вдругъ Кассандра оглянулась
 И очами повела,
 Съ дикимъ воплемъ отшатнулась,
 Вскинувъ руки, замерла.

Слѣдуетъ видѣніе ожидающаго Трои разгрома.

Ахъ! Предчувствуя позоръ свой,
 Мнѣ ль прильнуть къ груди твоей?
 Уходи въ глухой просторъ твой,
 Отъ проклятій уходи.
 И въ одно мгновенье ока
 Гнѣвный ликъ его погасъ —
 Изступленный издалека
 Онъ воззвалъ въ послѣдній разъ.

Цѣломудренная героиня, въ сердцѣ которой гражданское
 чувство побѣдило всѣ другія, спѣшитъ предостеречь родной го-
 родъ отъ гибели, скрытой въ роковомъ концѣ...

Слыша дочери стенанье,
 Просыпается Пріамъ,
 Но напрасны предсказанья —
 Вѣры нѣтъ ея рѣчамъ.
 Ей рыдать даютъ свободу,
 Ничего не говоря.
 — Обезумѣла! народу
 Шепчутъ ближніе царя.
 Дни бѣгутъ... Врагамъ повѣривъ,
 Троя въ праздничныхъ цвѣтахъ;
 Лишь она одна, измѣривъ
 Бездну зла, внушаетъ страхъ...
 Одичала... на оградѣ
 Съла — и глядитъ, стена,
 Какъ встрѣчаетъ царь Палладѣ
 Посвященнаго коня.

Не будемъ разбирать остальные лирическія піесы сборника, менѣе замѣтныя какъ по содержанію, такъ и по формѣ. Между ними есть однакоже нѣсколько удачныхъ. Таковы два стихотворенія, характеризующія Фета («А. А. Фетъ», стр. 8, и «Въ день 50-лѣтняго юбилея А. А. Фета», стр. 41); «Свѣтлое воскресенье», отличающееся стройной симметрической формою; «Для сердца нѣжнаго» (стр. 40), гдѣ поэтъ снова является пѣвцомъ прочной привязанности въ противоположности страсти, которую здѣсь онъ прямо называетъ «Слѣпою силою», отравляющею сердце и мутящею умъ; «Я врагами богатъ и друзьями» (стр. 46), гдѣ выражено чувство обиды поэта на безсиліе его друзей, мало-душно уступающихъ передъ настойчивой твердостью враговъ. Поэтъ заключаетъ стихотвореніе въ духѣ Гейне выразительнымъ сарказмомъ:

И я право не знаю, что лучше:
 Эта дружба или эта вражда?
 Поневолѣ завидуя силѣ,
 Я врагами горжусь иногда.

Въ большемъ стих.: «Разговоръ» (стр. 159—176), въ діалогѣ критика съ гостемъ, пришедшимъ посоветоваться съ нимъ о поэтическихъ опытахъ своего сына, авторъ устами критика, среди многихъ здравыхъ мыслей о поэзіи, высказывается противъ потворства мнимому поэтическому призванію. Стихотвореніе это, къ сожалѣнію, растянуто и — по мыслямъ — не ново. Подобнаго содержанія небольшая піеса: «Люблю, цѣню твои сомнѣнья» (стр. 47), гдѣ поэтъ предостерегаетъ отъ авторства дѣвушку, не обладающую достаточнымъ дарованіемъ. Остальные стихотворенія — или отрывки, или наброски, въ которыхъ фантазія поэта не отпечатлѣлась представленіями достаточно ясными или красивыми. Таковы: «Въ засуху» (стр. 10), «Памяти Гаршина» (стр. 26), «Завѣтъ» (стр. 37), «Въ снѣжной равнинѣ» (стр. 71), «Передъ каминомъ» (стр. 178), «Черногорскій ключъ» (стр. 191), «! осеннюю темь» (стр. 193), «Въ гостяхъ у А. А. Ш.» (стр.

199), «Вѣрь, не зиму любимъ мы» (стр. 201). Есть одна недурная эпиграмма («МѢ», стр. 177).

9.

Въ сборникъ вошли еще два эпическія произведенія большаго размѣра: «Повѣсть о правдѣ истинной и кривдѣ лукавой» (стр. 55—90) и «Анна Галдина» (стр. 98—158).

Мы видѣли, какъ идеи поэта находили удачное воплощеніе въ образахъ античныхъ. Античные образы имѣютъ всѣ преимущества поэтическихъ созданій высокой цивилизаціи. Новый поэтъ, избирающій ихъ символами взволновавшихъ его мыслей, находилъ ихъ глубокими и прекрасными уже въ ихъ античномъ первообразѣ. Идея сливалась съ такимъ образомъ безъ усилія, даже находила въ немъ первый толчокъ творчества; такіе образы поднимали самую мысль автора, которая возбуждалась ихъ красотой.

Не то встрѣтилъ поэтъ, когда обратился къ русской народной поэзіи. Желая воплотить въ художественной сказкѣ борьбу правды съ неправдою, онъ не нашелъ въ русской сказкѣ пригодныхъ для его цѣли образовъ. Извѣстно, что въ народныхъ сказкахъ Правда и Кривда являются не получившими фантастическаго олицетворенія, а выразились въ элементарныхъ фигурахъ праводушнаго и криводушнаго крестьянина, изъ которыхъ первый, вопреки общему порядку вещей, слѣдуетъ пути праведному и награждается за то бракомъ съ царской дочерью. Въ «стихѣ о Голубиной книгѣ» Правда и Кривда приснились князю Володимиру Володимировичу подобными двумъ звѣрямъ, вступившимъ въ бой. Вотъ и все, что могъ найти Полонскій въ народной поэзіи: слѣдовательно ему пришлось для своей сказки, задуманной въ народномъ духѣ, создавать образы совершенно самостоятельно. Кривда удалась ему болѣе: изъ нѣсколькихъ видовъ, которые принимаетъ она здѣсь, лучше всего—образъ старицы, преображающейся въ красавицу для того, чтобы отвлечь дружину бога-

тыря Ивана Богуслаевича, ополчившагося на Кривду (главы X и XII):

Въ это время Иванъ Богуслаевичъ
 Увидалъ изъ-за лѣса дремучаго,
 По травѣ шелестя, къ нимъ какъ тѣнь идетъ
 Въ ветхомъ рубищѣ нѣкая старица,
 Головой трясеть и прихрамываетъ,
 На кривую клюку опирается...
 Подходя, въ поясъ кланяется,
 Подойдя, таковы слова
 Говорить нараспѣвъ тихимъ голосомъ:
 — Дай вамъ Богъ, ниспошли Богородица
 Одолѣнье на Кривду лукавую!
 Охъ, отцы мои, многомилостивцы!
 Не калика я переходящая,
 Не раба, а княжая дочь —
 Кривдой лукавой обиженная.
 Какъ была я молоденькая,
 Безъ труда, безъ работы, безъ горяшка
 Между нянюшекъ, сѣнныхъ дѣвушекъ
 Я у батюшки въ терему росла...

.....
 А какъ померъ родимый, осталась я
 Сиротѣть съ вѣдьмой-мачехою,
 Да съ ея сыновьями-злодѣями.
 Обобрали они меня до-чиста,
 Долго гнали, корили сутяжили,
 По всему околотку безчестили,
 Что де я, молодая, съ нечистымъ вожусь,
 Навожу на скотину надежь,
 На людей злую хворь навожу.
 И хотѣли они меня въ темный подвалъ
 Засадить, чтобъ я свѣту не видѣла, —
 Да старуха одна надоумила —

Принесла мнѣ одежду крестьянскую...

.....
Тутъ присѣла къ огню эта старица,
Попросила напиться — и, охая,
Нараспѣвъ, тѣмъ же ласковымъ голосомъ,
Повела, дальше рѣчь свою...

.....
Ужъ давно погасъ ихъ ночной костеръ,
Ужъ и мѣсяцъ зашелъ въ тучу темную,
Ужъ и звѣзды куда-то попрятались,
А они все сидѣли да слушали.
Къ утру сталъ дремать богатырь Иванъ,
А ребята его и не думали...
А чѣмъ больше они въ нее всматривались,
Тѣмъ пригожѣй она становилась.
Кто поближе къ ней присосѣдился
Тотъ ужъ чуялъ въ ней что-то знойное;
Сквозь морщины ея, такъ и чудилось,
Красотой и соблазномъ просвѣчиваетъ,
Темный глазъ горитъ молодымъ огнемъ,
А сѣдые, косматые волосы
Свѣтлорусой косой разсыпаются.

Къ сожалѣнію, самъ герой повѣсти остался крайне безцвѣтенъ; авторъ, очевидно, придумывалъ каждое его дѣйствіе, руководствуясь внѣшними для дѣла фантазіи соображеніями. Такъ изобразивъ въ этомъ героѣ вождя ратнаго, — вооруженнаго мечемъ-кладенцомъ, авторъ потомъ видимо усомнился въ пригодности ратныхъ подвиговъ при борьбѣ за Правду съ Кривдою, и сочинилъ для него подвиги иного рода:

... не съ бою, не кровавымъ путемъ
Богатырь Иванъ со дружиною
До гнѣзда ея добирается.
Что онъ камни ворочаетъ, строить мосты,

Роешь колодцы глубокіе
 И, добра своего не жалѣючи,
 На разживу даетъ даже висѣльникамъ,
 Что споила она, отуманила . . .

Вслѣдствіе столь загадочнаго способа борьбы съ Кривдою, образъ, поставленный въ началѣ повѣсти, совершенно спутывается. Фантазія поэта разошлась съ мыслію.

Усыпивъ богатыря и разсѣявъ его дружину, Кривда его покинула. Богатыря разбудила Правда, возвратившаяся на время съ неба на землю. Съ этого момента весь ходъ изображеннаго дѣйствія обезцвѣчивается, лишается всякаго движенія и интереса. Правда ограничивается одними словами, Кривда — дракою съ Горемъ-Злосчастіемъ. Нестройная смѣна сценъ заканчивается сномъ, въ которомъ сберегаемая авторомъ мысль высказывается, наконецъ, обѣщаніемъ Правды сойти впослѣдствіи вторично на землю съ ангелами. Послѣ этого сна, въ которомъ почудилось Ивану Богуслаевичу, будто Правда отъ Кривды лицо свое отвратила и съ нимъ обручилась, богатырь вѣшаетъ свой мечъ на высокій дубъ, прося его сберечь этотъ мечъ для того, кто уверуетъ, что спасетъ отъ бѣдъ Русь, когда «неравенъ часъ, Кривда лукавая соберетъ полки и пойдетъ на насъ». Затѣмъ, какъ повѣствуетъ авторъ, герой-ратникъ безъ оружія пошелъ по Руси — «и слово его было сильное слово — сильнѣе меча; въ его словахъ была правда истинная».

За исключеніемъ двухъ-трехъ сценъ, слѣдуетъ признать эту повѣсть попыткою неудачною со всѣми недостатками пространныхъ аллегорическихъ повѣствованій, въ которыхъ теряется ясность занимающихъ автора мыслей. Приведенная выше выдержка показываетъ и безукоризненность стиха этой сказки (см. напр. стихъ 27-й).

Совсѣмъ иное дѣло — вторая повѣсть: «Анна Галдина. Изъ преданій одного уѣзднаго города».

Это — юмористическій стихотворный рассказъ, сюжетъ котораго — очень незамысловатый анекдотъ. Суевѣрная купеческая

дѣвушка, начавшая порядкомъ старѣться, почувствовала сердечную склонность къ юному постояльцу, въ которомъ впервые встрѣтила лицо, сумѣвшее занять ея умъ и фантазію и пробудить дотошѣ подавленную безотрадными условіями грубой среды душу. Въ порывѣ желанія помолодѣть, чтобы вызвать въ юношѣ взаимность, наивная героиня обратилась къ знахарю, слывшему въ городѣ за колдуна, который обладаетъ тайною возвращать молодость. Взявъ съ нея впередъ порядочную сумму денегъ, плутъ выкупалъ ее въ водѣ съ ароматическими травами и, отпуская домой, строго-на-строго наказалъ ей въ теченіе девяти сутокъ ни подъ какимъ видомъ не называть себя никому по имени — иначе исчезнетъ сила колдовства. Но едва Анна покинула домишко знахаря, какъ вынуждена была, подъ страхомъ впутаться въ непріятную уличную сцену, назвать себя полицейскому. Разочарованіе и безнадежность горя сводятъ быстро ее въ могилу.

Этому лубочному сюжету Полонскій сумѣлъ сообщить интересъ и поэтический колоритъ, давъ разсказу смыслъ бытовой картины уѣзднаго города 30-хъ и 40-хъ годовъ нашего вѣка и одаривъ героиню нѣкоторыми привлекательными чертами характера. Юморъ въ разсказѣ выдержанъ; онъ нигдѣ не притязаетъ на сатирическій пафосъ, но, соотвѣтственно содержанію, ведется тономъ добродушной шутки, съ которымъ какъ нельзя болѣе гармонируетъ избранный поэтомъ стихотворный размѣръ. Подобно тому, какъ Пушкинъ воспользовался складомъ лубочныхъ виршъ для своей сказки о попѣ и работникѣ его Балдѣ, Полонскій здѣсь примѣнилъ мотивъ камаринской, порою съ перебоемъ парныхъ риѣмъ этой пѣсни риѣмами чередующимися, порою сгоняя ихъ по три въ рядъ и, наконецъ, изрѣдка оставляя стихъ безъ соотвѣтствующей риѣмы.

Начавъ тономъ раѣшника, показывающаго незамысловатыя картинки свои:

Безподобное мѣстечко, господа!

Не угодно ли пожаловать сюда.

Поглядите, что за чудо городокъ:
 Не Москвы ль онъ отдаленный уголокъ?
 Вотъ застава и, чтобъ каждый видѣть могъ,
 Въ видѣ замка бѣлокаменный острогъ;
 Вотъ общественная баня и кабакъ,
 Вотъ базаръ, и судъ уѣздный, и баракъ,
 Гдѣ идетъ теперь игра, среди кулисъ,
 Доморощенныхъ актеровъ и актрисъ;
 Есть и вывѣска подъ видомъ колача,
 И полиція, и даже каланча.
 И общественный есть садикъ, гдѣ сирень
 На скамеечку отбрасываетъ тѣнь:
 Тутъ и липа и боярышникъ цвѣтетъ,
 Когда лѣто людямъ пару поддаетъ...

онъ переходитъ къ юмористическому историческому очерку древней и новой Руси, который долженъ объяснить состояніе описываемаго городка, послужившаго мѣстомъ дѣйствія его повѣсти. Шутливый тонъ мастерски мѣняется, разнообразно переливаясь и порою переходя въ задушевный и грустный, гдѣ того требуетъ содержаніе, подобно тому какъ подъ пальцами искуснаго балалаечника игривый мотивъ порою звучитъ томно и уныло. Мало по малу рассказъ переходитъ въ широкую картину нравовъ и въ наглядный психологическій этюдъ, вводящій читателя въ святилище души его симпатичной героини, которой было суждено сыграть такую комическую и грустную роль въ жизни. Описавъ обстановку ея дѣтскихъ лѣтъ, поэтъ продолжаетъ:

Эти старыя картинки безъ затѣй
 Были школою для Анны съ раннихъ дней;
 Эти надписи, что съ дѣтства разбирать
 Ей пришлось и навсегда запоминать,
 Говорили съ ея сердцемъ и умомъ,
 Наполняли душу вѣрой и огнемъ:
 Она вѣрила, что скоро страшный судъ,
 Что Антихристъ недалеко, что придутъ

Съ нимъ и аггелы его, чтобъ налагать
 На невѣрующихъ адскую печать.
 И боялась, когда громъ мѣшалъ ей спать,
 И крестилась всякій разъ, какъ бѣлый блескъ
 На мгновенье озарялъ ея кровать,
 Иль гудѣлъ вдали разсыпавшійся трескъ.
 Развѣ няня ей могла растолковать,
 Что такое эта молнія и громъ?
 Вотъ она на край подушки локоткомъ
 Оперлась и на святые образа
 Возвела свои пугливые глаза.
 Громъ гремитъ, а вдохновенная слеза
 Отягчаетъ ей рѣсницы и сильнѣй
 Сердце бьется за себя и за людей.
 Затаенный міръ души ея во всей
 Красотѣ ея наивной, цѣликомъ
 Опирается на то, что дали ей
 Эти стѣны, эта ночь и этотъ громъ...

Кромѣ героини, въ разсказѣ изображено нѣсколько второ-
 степенныхъ фигуръ, очерченныхъ очень живо. Таковы, напри-
 мѣръ, — старыя тетки, которымъ было поручено воспитаніе
 Анны въ ея юности, студентъ-постоялецъ, знахарь Мартынъ.
 Разсказъ, носящій характеръ шутки, оказывается выше многихъ
 прежнихъ поэмъ Полонскаго (какъ, на примѣръ, «Мими», «Со-
 баки», «Куклы»). Въ немъ поэтъ нашелъ вѣрный тонъ, подобно
 тому какъ однажды нашелъ его при созданіи своего «Кузнечика-
 музыканта» — поэмы совсѣмъ иного характера.

Вотъ юмористическая характеристика тетокъ Анны:

Имъ претила даже брачная любовь...
 Были слухи, что онѣ во цвѣтѣ лѣтъ,
 Чтобъ придать ихъ грубымъ лицамъ нѣжный цвѣтъ,
 Извели румянъ не мало и бѣлилъ,
 И рядились, но никто имъ не былъ милъ,
 И никто ихъ даже въ шутку не любилъ.

Онѣ были и судьбой обойдены,
 И какъ бы самой природой лишены
 Того женскаго особаго чутья,
 Безъ котораго не мыслима семья.
 Тайно тлѣющій страстей угарный чадъ
 Рисовалъ имъ только ужасы и адъ.
 Онѣ искренно вздыхали, говоря,
 Что невѣстамъ лишь небеснаго Царя
 Будутъ райскія врата растворены;
 Остальныя будутъ рая лишены,
 Потому что ихъ поялъ земной женихъ
 Для нечистыхъ, подлыхъ радостей земныхъ.
 И не странно ли, что этотъ идеалъ
 Чистый, дѣвственный, нисколько не мѣшалъ
 Имъ судачить, враждовать между собой
 Изъ-за тряпки, изъ-за каждаго куска?
 Такъ святая ихъ душа была мелка!

Приведемъ еще одну сцену изъ юности героини. Вопреки аскетическому идеалу, внушенному тетками Аннѣ, сказался въ ней голосъ природы въ первыхъ порывахъ безсознательной «слѣпой силы», навѣвавшихъ ей страстные сны. Одна изъ этихъ сценъ, столь рискованныхъ для эстетическаго изображенія, исполнена Полонскимъ съ искусствомъ и тактомъ, обличающими въ авторѣ истиннаго поэта. Въ этомъ отношеніи она выдержитъ сравненіе съ подобными сценами у первоклассныхъ писателей, къ несомнѣнной своей выгодѣ:

И фантазія, сестра земныхъ страстей,
 Не давала иногда покоя ей.
 Разъ, ну точно наяву, а не во снѣ,
 При лампадномъ тускломъ свѣтѣ, при лунѣ,
 Что бросала серебро свое на дворъ,
 На сады и къ ней въ свѣтелку на коверъ,
 Въ ночь іюньскую, когда вдали урчатъ
 Соловьи и розы льютъ свой ароматъ,

На своей постели душей, въ тишинѣ,
Прислонясь ужъ не къ подушкѣ, а къ стѣнѣ,
Она чувствуетъ, будто кто-то къ ней вошелъ,
Заглянулъ и складки полога отвелъ.
Смотритъ Анна — видитъ: юноша; на немъ
Край одежды отливаетъ серебромъ,
Его кудри обвиваетъ золотой
Тонкій обручъ; непостижной красотой
Дышитъ томное, холодное лицо, —
Надѣваетъ онъ ей на руку кольцо,
Говоритъ ей: Анна, Анна, ты моя!
Развѣ можетъ быть красавица ничья?
Нѣги, трепета и ужаса полна,
Съ торопливою стыдливостью она
И на плечи, и на дѣвственную грудь
Натянула покрывало, — отвернуть
Свою голову хотѣла, чтобъ зарыть
Въ пухъ подушекъ воспаленное лицо;
Но ей палецъ жжетъ волшебное кольцо,
Но устами онъ прильнулъ къ ея устамъ...
Она силится, порывисто дыша,
Оттолкнуть его, но тѣло и душа —
Все въ ней замерло въ блаженномъ забытіи.
Разметавши руки бѣлыя свои,
Она вскрикнула... очнулась — онъ исчезъ...
Былъ ли это Божій ангелъ или бѣсъ?
Ничего она, проснувшись, не могла
Ни понять, ни объяснить себѣ; была
Такъ мучительно взволнована, что сонъ
Не пришелъ къ ней и тогда, когда ужъ звонъ
По церквамъ ей возвѣстилъ восходъ зари.
Слышитъ Анна, тетка кличетъ: отопри!
Отодвинулась задвижка, — та вошла:
— Для чего ты въ садъ окошко подняла?

И чего стонала? что́ это съ тобой?
 Не больна ли? не душилъ ли домовой?
 — Я сама не знаю, тетя, что́ со мной?
 Отвѣчала Анна, трепетной рукой
 Прикрывая свою шею. — Страшный сонъ
 Мнѣ привидѣлся... въ ухахъ былъ шумъ и звонъ,
 Сердце маялось... Ахъ тетя!

— Съ нами Богъ

Съ нами сила Его крестная! Охъ, охъ!
 Такъ заохала старуха, головой
 Покачала, почесалась и ушла.
 Анна стала на колѣна.

— Боже мой!

Наяву или во снѣ — но я грѣшна!...
 И не чуя, какъ ей вѣетъ изъ окна
 Раннимъ утромъ, видитъ съ ужасомъ она,
 Какъ погасъ въ ея лампадкѣ огонѣкъ,
 Сѣрой струйкой извивая свой дымокъ.
 — Это онъ мою лампаду погасилъ —
 Ангелъ плачетъ и лицо отворотилъ!...

И челомъ своимъ лилейнымъ Анна ницъ
 Преклонила до самыхъ половицъ.

И вся повѣсть полна жизни и поэзій; полна она и остроумія, которое составляетъ необходимую принадлежность рассказовъ, написанныхъ въ духѣ и интересѣ «просвѣщенія». Мы бы сказали, что въ ней есть что-то вольтеровское, въ лучшемъ значеніи этого слова, если бы она не была насквозь національною и не была бѣ согрѣта знакомымъ намъ русскимъ сердцемъ автора. Можно только пожелать, чтобы авторъ еще разъ пересмотрѣлъ свой рассказъ и сгладилъ бы встрѣчающееся мѣстами излишнее пониженіе тона, и исправилъ бы неполный 2-й стихъ XII-й главы и 10-й стихъ съ конца въ послѣдней главѣ, и сократилъ бы или исключилъ замедляющія ходъ рассказа два-три мѣста (напр. въ описаніи нравовъ городка въ VIII главѣ, и толки горожанъ по

поводу представленія въ циркъ въ гл. XII-й). Несмотря на эти незначительныя недостатки, «Анна Галдина» представляетъ весьма замѣтное явленіе наряду съ лучшими образцами пера Богдановича, И. И. Дмитріева, Пушкина и Лермонтова въ томъ поэтическомъ родѣ, который теорія поэзіи называетъ «комическими поэмами», каковы: «Графъ Нулинъ», «Домикъ въ Коломнѣ», «Казначейша» и т. п.

Таковъ новый прекрасный сборникъ произведеній Я. П. Полонскаго. Разбирая его, мы смѣло указывали на встрѣченныя въ немъ менѣе удачныя произведенія, въ твердой увѣренности, что они не будутъ имѣть рѣшающаго значенія при оцѣнки книги, заключающей въ себѣ *все, что было написано* поэтомъ въ теченіе извѣстнаго періода времени (см. краткое предисловіе къ «Вечернему Звону»). Если у поэтовъ, по силѣ дарованія заслужившихъ общее признаніе гениальными (какъ напр. у Лермонтова), въ полныхъ собраніяхъ ихъ сочиненій встрѣчаемъ на одно превосходное произведеніе десятки пьесъ низшаго достоинства, а порою и слабыя, то не свидѣтельствуетъ ли это о неизбѣжности подобнаго явленія въ дѣятельности каждаго художника? Въ небольшой періодъ времени, съ апрѣля 1887 года по 1890-й годъ включительно, Я. П. Полонскій обогатилъ русскую литературу: 1) нѣсколькими высокими въ художественномъ отношеніи лирическими произведеніями, не уступающими лучшимъ его стихотвореніямъ прежнихъ лѣтъ; 2) прекрасною балладою, достойно пополняющею одинъ изъ поэтическихъ образовъ всемірной литературы, и 3) оригинальною комическою поэмою, имѣющею крупныя достоинства. Сравнительная оцѣнка этихъ произведеній съ его прежними лучшими произведеніями приводитъ насъ къ отрадному заключенію, что творчество маститаго поэта не только не ослабѣваетъ, но продолжаетъ служить выраженію новыхъ идей, захватывающихъ поэта среди движенія его душевной жизни, а создавая произведенія, аналогичныя прежнимъ, даетъ новыя образцы, или равныя имъ, или превышающіе ихъ художественными достоинствами. А потому полагаю, что нужно

явиться въ современной русской поэзіи чему-нибудь очень крупному по оригинальности, глубинѣ и широтѣ содержанія, по красотѣ, разнообразію и новизнѣ пластическихъ и музыкальныхъ средствъ языка, чтобы авторъ «Вечерняго Звона» долженъ былъ уступить первенство въ состязаніи на премію, носящую имя Пушкина.

II.

Повѣсти и рассказы И. Н. Потапенко. Томъ второй. Рецензія Н. Н. Страхова.

Авторъ этой книги недавно появился въ литературѣ, и произведенія его съ самаго же начала имѣли значительный успѣхъ между читателями. А такъ какъ онъ пишетъ много и непрерывно появляется съ новыми произведеніями, то имя г. Потапенко уже принадлежитъ къ очень извѣстнымъ именамъ.

Какими же качествами нріобрѣтена эта извѣстность? Больше всего, намъ кажется, на читателей подѣйствовали два несомнѣнныхъ достоинства г. Потапенко: во-первыхъ необыкновенная живость рассказа и во-вторыхъ совершенная ясность темы въ каждомъ произведеніи. Г. Потапенко читается съ величайшею легкостью; повѣствованіе идетъ быстро и ровно, прямо открывается какою-нибудь сценою и потомъ непрерывно развивается, не уклоняясь въ сторону, не задерживаясь какими-нибудь размышленіями, описаніями природы, характеристиками, эпизодами и т. п. Мысль, на которую написанъ рассказъ, всегда ясна читателю съ первыхъ же страницъ, и послѣдующія страницы только обставляютъ ее подробностями и проводятъ ее до самыхъ крайнихъ послѣдствій. Вопреки обычаю, любовь, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, не составляетъ главной темы рассказовъ г. Потапенко. Такъ въ первой повѣсти *На дѣйствительной службѣ* выведенъ самоотверженный и безкорыстный молодой священникъ, желающій скоро осуществлять евангельскія начала на

своей службѣ среди крестьянъ большого села, и тема повѣсти заключается въ описаніи препятствій и противодѣйствія, которое онъ встрѣчаетъ со всѣхъ сторонъ. Во второй повѣсти *Секретарь Ею Превосходительства* разсказывается, какъ добрый молодой человѣкъ губить свое время и свои силы, отчасти желая выслужиться передъ своимъ начальникомъ, важнымъ сановникомъ, отчасти по какой-то неодолимой привычкѣ подчиняться этому своему патрону. *Рѣдкій праздникъ* есть небольшой разсказъ о томъ, какъ въ случаѣ хорошаго урожая хлѣбовъ рабочіе набиваютъ цѣну на свой трудъ, какъ хозяева тѣснятъ рабочихъ, когда нѣтъ работы, и ухаживаютъ за ними, когда работы много. *Проклятая слава* изображаетъ мальчика необыкновенно способнаго къ музыкѣ, къ игрѣ на скрипкѣ. Отецъ, ожидая впереди славы и денегъ, такъ его замучилъ упражненіями, что мальчикъ удавился.

Нужно прибавить, что всѣ эти темы развиты у автора съ извѣстною долею реализма; лица, выводимыя на сцену, имѣютъ извѣстное своеобразіе въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ; сцены рисуются съ нѣкоторыми характерными подробностями и ходъ происшествій довольно натураленъ.

Все это вмѣстѣ свидѣлствуетъ о талантливости разбираемыхъ произведеній, и можно ожидать, что авторъ со временемъ напишетъ что-нибудь достойное серіознаго вниманія и похвалы. Теперь же, не смотря на указанныя привлекательныя свойства, мы рѣшаемся сказать, что его разсказы еще не имѣютъ высшихъ качествъ, какія требуются отъ этого рода писаній.

Во-первыхъ, его реализмъ не довольно глубокъ и ярокъ. У него нѣтъ ни одной страницы, которая могла бы поравняться въ реализмъ съ отдѣльными мѣстами Чехова, Гаршина, Эртеля, Альбова, Ясинскаго, Бѣжецкаго, Гнѣдича и другихъ авторовъ современной литературы. Произведенія этихъ писателей не имѣютъ большой значительности, взятая въ цѣломъ, но въ нихъ нерѣдко попадаются картины и сцены, схваченныя съ удивительною живостію и точностію и поражающія насъ своею вѣрностію дѣй-

ствительности. Русскій художественный реализмъ, основанный Пушкинымъ, разработанный Гоголемъ и потомъ Л. Н. Толстымъ, поднялся до такой высокой степени, какой еще не достигалъ ни въ одной литературѣ, и талантливые люди, руководимые этими образцами, можно сказать, равняются съ ними въ отдѣльныхъ чертахъ, въ удачныхъ мѣстахъ своихъ произведеній. Если они не могутъ создать большого цѣлаго, проникнутаго важною творческою идеею, то все же иногда видно, что имъ знакомъ и дорогъ пріемъ вѣрнаго и тонкаго реализма, требующагося, при нынѣшнемъ развитіи нашей литературы, для художественнаго изображенія какихъ бы то ни было предметовъ.

У г. Потапенко между тѣмъ реализмъ никогда не доходитъ до полной своей силы; рассказъ идетъ слишкомъ бѣгло и поверхностно, такъ что все обозначается лишь легкими очерками и нигдѣ не встрѣчается глубокой черты. Иногда странно читать, когда передъ нами быстро мелькаютъ самыя крупныя событія въ жизни героевъ, — бракъ, смерть, рожденіе дѣтей и тому подобное, и рассказъ ничуть не останавливается на томъ впечатлѣніи, которое неминуемо должны производить эти событія.

Точно такъ авторъ скользитъ и по характеристамъ своихъ дѣйствующихъ лицъ; каждое изъ нихъ опредѣляется лишь одной или двумя чертами, и хотя остается себѣ вѣрнымъ, но далеко не представляетъ полного образа.

Напримѣръ, настроеніе юнаго священника изображено очень неясно, да и не видно, какъ оно сложилось.

Наконецъ, всего слабѣе, по нашему мнѣнію, у г. Потапенко развитіе событій; оно черезчуръ правильно и направляется къ своему исходу черезчуръ прямо. Отсюда же и умышленныя преувеличенія, которыя, въ сущности, только вредятъ дѣлу. Читатель очень скоро начинаетъ видѣть, куда клонить авторъ и какъ онъ сочиняетъ свои сцены и происшествія, а потому теряется вѣра въ правдоподобіе рассказываемаго, и вообще дальнѣйшее чтеніе рассказа становится скучнымъ.

Въ настоящее время мы имѣемъ въ писаніяхъ Л. Н. Тол-

стого высокій образецъ, которому должны бы подражать молодые повѣствователи. Они должны понять, что величайшее достоинство разсказа есть его глубокая добросовѣстность, искреннее желаніе проникнуть въ тайны человѣческой души, уловить природу того предмета, на которомъ остановилось вниманіе художника-писателя. Читатели иногда могутъ удовлетвориться и чѣмъ-нибудь легкимъ и поверхностнымъ; но дѣло вѣдь не въ томъ, чтобы обманывать читателей, а въ томъ, чтобы дѣйствительно выразить въ живыхъ образахъ тотъ интересъ, который наполняетъ нашу душу. Если такой наполняющій душу интересъ у насъ есть, то нашъ талантъ станетъ дѣйствовать съ полною своею силою, и наши образы будутъ не сочиняться, не очерчиваться бѣгло и вскользь, а получать живость и опредѣленность настоящаго художественнаго созданія. И тогда всякій читатель, самый взыскательный, непременно настолько же заинтересуется предметомъ, насколько имъ заинтересованъ авторъ.

Во вниманіи къ таланту, обнаруженному авторомъ «Повѣстей и разсказовъ» и, при всей строгости настоящей рецензіи, признаваемому самымъ критикомъ, комиссія признала справедливымъ присудить г. Потапенко поощрительную премію.

III.

Поэмы и пѣсни А. Д. Львовой. Разборъ графа А. А. Голенищева-Кутузова.

Сборникъ стихотвореній г-жи Львовой «Поэмы и пѣсни», представленный на соисканіе преміи имени А. С. Пушкина, раздѣляется на двѣ части: въ первой помѣщены лирическія стихотворенія, во второй—поэмы.

Лирическія стихотворенія въ свою очередь раздѣлены авторомъ на пять группъ: Отклики, Между небомъ и землею, Призраки, Подъ гнетомъ и, наконецъ, Эпилоги. Дѣленіе это довольно

произвольно и мало оправдывается содержаніемъ размѣщенныхъ по группамъ пьесъ. Тонъ и построеніе ихъ очень однообразны: сожалѣніе о погибшей любви, сознаніе безсилія въ житейской борьбѣ, жажда забвенія, покоя и даже смерти — вотъ общее содержаніе большей части лирическихъ стихотвореній г-жи Львовой. Все это, конечно, не ново и не выдвигаетъ разбираемый нами Сборникъ изъ массы таковыхъ же сборниковъ, посредствомъ которыхъ современные поэты — пессимисты, за послѣдніе десять-пятнадцать лѣтъ, наводняютъ русскую литературу своими стоны и вздохами. Нельзя однако не замѣтить, что въ поэзіи г-жи Львовой эти стоны и вздохи запечатлѣны характеромъ такой искренности и неподдѣльности, отъ нихъ вѣетъ такой простою, подъ часъ даже наивною, жизненною правдою, что читатель въ концѣ концовъ примиряется съ заурядностью содержанія и невольно проникается сочувствіемъ къ автору и къ его произведеніямъ — несомнѣнный признакъ присутствія въ этихъ произведеніяхъ настоящаго поэтическаго дарованія, хотя размѣръ дарованія, быть можетъ, не особенно крупенъ, а кругозоръ его — не особенно широкъ.

Къ наиболѣе слабымъ изъ помѣщенныхъ въ первой части сборника мелкихъ стихотвореній слѣдуетъ безъ сомнѣнія отнести тѣ, которыя написаны на разные случаи и сгруппированы подъ общимъ названіемъ «Отклики». Таковы напр. пьесы: Ко дню открытія памятника А. С. Пушкина, Памяти Глинки, По поводу самоубійствъ, Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ (по случаю спектакля у князя М. С. Волконскаго), и нѣкоторыя другія. Очевидно, все это писалось безъ всякаго вдохновенія, безъ подъема поэтическаго духа и, такъ сказать, по заказу — а потому и вышло холодно, разсудочно и растянута. Для примѣра приведемъ характеристику Пушкина въ первомъ изъ перечисленныхъ выше стихотвореній:

Онъ мыслію пережилъ всѣ страсти и волненья:

Великаго Петра великія мечты,

Отрепьева обманъ, Мазепы преступленья,

Жуана тщетное исканье красоты,

Мученья адскія Бориса Годунова,
 Сальери ненависть, Онѣгина любовь,
 Надъ грудой золота терзанія Скупого,
 Цыгана дикаго разнузданную кровь (?) и т. д.

Это — просто сухой перечень произведеній Пушкина, написанный очень плохими стихами съ приправою нѣсколькихъ высокопарно-ходульныхъ фразъ и опредѣленій, въ родѣ: «Баянъ нашъ чудотворный» и т. п.

По подобной же программѣ составлено стихотвореніе: Памяти Глинки; только «чудотворный Баянъ» замѣненъ «чудодѣйственнымъ Орфеемъ».

И понялъ онъ ту пѣснь родную,
 Нашъ чудодѣйственный Орфей,
 И пѣсню новую, живую
 Оставилъ родинѣ своей.
 Создатель музыки народной,
 Въ «Русланѣ», въ «Жизни за Царя»,
 Художникъ — онъ мечтой свободной,
 Не подражая, но творя,
 Впервые правиламъ искусства
 Напѣвъ народный подчинилъ и т. д.

Не болѣе удачны прозаическія разсужденія г-жи Львовой «По поводу самоубійствъ» и обращеніе къ «Русской женщинѣ». При чтеніи этихъ пьесъ невольно рождается вопросъ: при чемъ тутъ поэзія вообще и стихи въ особенности? Не проще ли было бы написать на эти предметы газетную статью или фельетонъ въ откровенной прозѣ? Вотъ примѣры ринованной прозы, заключающейся въ названныхъ стихотвореніяхъ:

Я ищу съ содроганьемъ сердечнымъ
 Межъ пространныхъ газетныхъ столбцовъ,
 Тотъ отдѣлъ, гдѣ съ презрѣньемъ безпечнымъ
 Грѣшной смерти приподнять покровъ,

Гдѣ на судъ клеветы произвольной,
 Любопытству бездушныхъ глупцовъ
 Выдается мертвецъ, самовольно
 Убѣжавшій изъ стана борцовъ и т. д.

или:

Плохо живется: тоска и сомнѣнье
 Все молодое гнетутъ поколѣнья.
 Иль разлагается племя могучее?
 Нѣтъ, не погасло въ немъ пламя живучее,
 Только все ждетъ оно новыхъ мѣховъ,
 Чтобъ не заглохнуть въ золѣ накопившейся.
 Женщинѣ-матери, въ силѣ развившейся,
 Сбросившей тягость позорныхъ оковъ,
 Время настало раздуть животворную
 Божію искру въ остывшихъ сердцахъ,
 Время ей ниву вспахать плодотворную,
 Жизнь человѣчества — въ женскихъ рукахъ и т. д.

Мы съ умысломъ сдѣлали нѣсколько выписокъ изъ самыхъ слабыхъ стихотвореній г-жи Львовой для того, чтобы нагляднѣе показать, насколько произведенія, вылившіяся изъ-подъ пера того же автора, но уже подъ вліяніемъ непосредственного чувства и вдохновенія, отличаются отъ написанныхъ по заказу или съ заранѣе обдуманной тенденціей. Контрастъ такъ разителенъ, что можетъ даже возникнуть сомнѣніе, писаны ли тѣ и другія стихотворенія однимъ и тѣмъ же авторомъ.

Какъ мы уже сказали, общее настроеніе поэзіи г-жи Львовой грустное и даже порою мрачное; но эта грусть, этотъ мракъ не напускная гражданская или міровая скорбь, а неподдѣльное, искреннее чувство, порожденное простыми событіями повседневной жизни — разлукою съ любимымъ человѣкомъ, житейскими невзгодами, потерей ребенка.

Все мерещится мнѣ дѣтскій мертвенный ликъ;
 Величавъ онъ, спокоенъ и строгъ,—

Будто годы она прожила, а не мигъ...
Умерла!... пожалѣлъ ее Богъ,
Взялъ къ себѣ отъ меня!... да и что я могла
Кромѣ ласки дать въ жизни тебѣ?...
Мать безсильна въ гнетущей судьбѣ.
Спи, голубка моя! Отъ печали и зла
Тебя смерть далеко унесла!
Грѣхъ и плакать по ней... Не по этимъ ли мнѣ,
Что остались, безумно рыдать?...
Камень на сердце легъ, голова какъ въ огнѣ,
Нѣтъ ужъ силъ ни работать, ни спать!...

Искренность и правдивость этого стихотворенія чувствуется въ каждомъ его словѣ, или, лучше сказать, въ каждомъ его стонѣ. Даже нѣкоторая беспорядочность въ расположеніи фразъ и, такъ сказать, метаніе мысли изъ стороны въ сторону — (глубокое, близкое къ отчаянью горе вѣдь не выбираетъ словъ и не округляетъ рѣчи для своего выраженія) — въ данномъ случаѣ, какъ нельзя болѣе уместны и производятъ сильное впечатлѣніе. Видно, что это произведеніе не придумано, а вылилось изъ глубины страдающей души, безъ всякой заботы о томъ, что скажутъ объ немъ читатели. Вотъ еще примѣръ подобной же поэтической импровизаціи, но не порывистой, а спокойной и задумчивой:

Осеннюю встрѣчу я помню глубоко, —
Давно ли то было, а будто далеко...
Въ саду мы увядшемъ бродили вдвоемъ
И листья сухіе летали кругомъ.
И грѣзы, какъ листья, въ сердцахъ увядали,
Осенніе вихри далеко ихъ гнали.
Но розы весною опять зацвѣтутъ,
А жизнь не отдастъ намъ счастливыхъ минутъ!

Каждое слово въ этомъ стихотвореніи стоитъ на мѣстѣ — очень рѣдкое и очень важное достоинство въ поэтическомъ про-

изведеніи. Кромѣ того, оно кратко, образно, содержательно и написано прекрасными звучными стихами.

Къ числу лучшихъ пьесъ сборника принадлежатъ «Въ дѣтской», «О, пой, не смолкая, мнѣ пѣсни земныя», «Разливается мгла золотистая», «Въ затишьи лѣса мы сидѣли». Въ нихъ повсюду чувствуется тонкое пониманіе красотъ и жизни природы, и близкое общеніе поэта съ этою жизнію; въ нихъ нѣтъ исканія вышнихъ эффектовъ и рисовки, столь свойственной женскому творчеству, и если краски, которыми написаны всѣ эти поэтическія картины, не особенно ярки, штрихи и образы не особенно сильны, если съ технической стороны встрѣчаются въ нихъ иногда ошибки и промахи въ видѣ неудачныхъ рифмъ или неправильнаго чередованія мужскихъ и женскихъ окончаній стиховъ, — то эти недостатки въ значительной степени искупаются отмѣченными нами внутренними достоинствами поэзіи г-жи Львовой, а болѣе всего — несомнѣннымъ ся поэтическимъ талантомъ. Мы не говоримъ, что г-жа Львова можетъ успокоиться и продолжать писать такъ, какъ она пишетъ теперь. До художественнаго совершенства ей очень далеко и разработка *формы* потребуетъ съ ея стороны многихъ трудовъ и усилій. Мы только высказываемъ тѣ основанія, которыя даютъ намъ право заключить, что эти труды и усилія не пропадутъ даромъ и что изъ г-жи Львовой можетъ со временемъ выработаться хорошая писательница.

Въ этомъ еще болѣе убѣждаетъ насъ впечатлѣніе, вынесенное нами при чтеніи поэмъ г-жи Львовой. Въ сборникѣ ихъ помѣщено шесть: Башмачки, Древній Кіевъ, Народное гулянье въ пользу бѣдныхъ, Марія Египетская, Недопѣтая пѣснь и Нина. Изъ нихъ первую и третью, т. е. Башмачки и Народное гулянье, нельзя собственно назвать поэмами; это два коротенькихъ эскиза въ обличительномъ духѣ съ примѣсью гражданской скорби — дань автора тому направленію, которое нѣсколько времени тому назадъ являлось въ русской литературѣ господствующимъ. Все, что было сказано о наиболѣе слабыхъ лирическихъ стихотвореніяхъ г-жи Львовой, всецѣло можетъ быть повторено и по отно-

шенію къ этимъ двумъ эскизамъ. Въ нихъ еще лишній разъ нашла подтвержденіе старая истина, что всякая тенденція — какъ бы возвышенна и благородна она ни была — обезсиливаетъ творчество и убиваетъ вдохновеніе. Останавливаться на этихъ двухъ произведеніяхъ положительно не стоить, тѣмъ болѣе, что они — по содержанію и по строенію — стоятъ совершенно особнякомъ и могли бы къ выгодѣ сборника быть изъ него исключены вовсе. Изъ четырехъ остальныхъ поэмъ г-жи Львовой двѣ — Древній Кіевъ и Марія Египетская — посвящены религіозно-историческимъ сюжетамъ и двѣ — Недопѣтая пѣснь и Нина — написаны на темы изъ современной жизни.

«Промчался вѣкъ эпическихъ поэмъ

И повѣсти въ стихахъ пришли въ упадокъ»,

сказалъ Лермонтовъ; но этотъ приговоръ, произнесенный въ окончательной формѣ, кажется не совсѣмъ справедливымъ, или во всякомъ случаѣ требуетъ поясненія. Едва ли требованія вѣка могутъ исключить изъ области литературы цѣлый родъ поэзіи, которая во всѣхъ своихъ проявленіяхъ такъ же свободна и вѣчна, какъ свободна и вѣчна душа человѣческая — ея источникъ и вмѣстилище. Если съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней, отъ безыменныхъ пѣвцовъ старой Индіи и Гомера до Байрона и Пушкина, люди воспѣвали своихъ героевъ и передавали сказанія о своей жизни въ формѣ эпическихъ поэмъ — то можно съ большимъ вѣроятіемъ заключить, что пока будутъ существовать на землѣ живые люди, будетъ жить и эпическая поэзія, будутъ писаться и читаться эпическія поэмы и повѣсти въ стихахъ. Только писать ихъ будетъ труднѣе, потому что требованія, предъявляемыя читателемъ къ писателю, все растутъ: то, что вполнѣ удовлетворяло нашихъ предковъ, насъ уже не удовлетворяетъ, а потомуки запрасятъ, по всей вѣроятности, еще гораздо больше. Геніи, подобные Пушкину, конечно, далеко опережаютъ свое поколѣніе и даютъ такіе образцы творчества, слѣдуя которымъ, второстепенные и третъестепенные таланты могутъ въ продолженіе весьма

долгаго періода времени удовлетворять всѣмъ художественнымъ требованіямъ своихъ современниковъ. Но приходитъ часъ, когда толпа въ смыслѣ художественнаго пониманія довоспитывается, дорастаетъ до высотъ, достигнутыхъ нѣкогда гениемъ посредствомъ пророческаго прозрѣнія—и тогда должно произойти одно изъ двухъ: или народится новый гений, который опять опередитъ своихъ современниковъ, опять укажетъ новые пути и задастъ новую работу труженикамъ нѣсколькихъ грядущихъ поколѣній—или толпа, хотя безсознательно и неопредѣленно, сама пойдетъ дальше и начнетъ предъявлять такія художественныя требованія, на которыя второстепенные и третъестепенные таланты не въ силахъ будутъ ей отвѣчать. По нашему мнѣнію, нѣчто подобное происходитъ въ настоящее время въ русской литературѣ. Пушкинскій ея періодъ завершенъ вполне. Пути, намѣченные великимъ поэтомъ, пройдены его послѣдователями и указанныя грани достигнуты. Пушкинская поэзія понята, оцѣнена по достоинству и усвоена всею читающею Россіей; она вошла въ плоть и кровь русской литературы. Требуется новый шагъ впередъ, новый подъемъ творческаго духа, откровеніе новаго идеала — и пока надъ Россіей не взойдетъ новый Пушкинъ и не повлечетъ за собою взоры и помыслы русскихъ людей къ недоступнымъ пока и даже невидимымъ вершинамъ, до тѣхъ поръ литература будетъ находиться въ состояніи застоя и роль заурядныхъ писателей и поэтовъ будетъ самая неблагоприятная и затруднительная. Имъ придется или перепѣвать старыя пѣсни на новый ладъ, или въ потемкахъ, ощупью, искать невѣдомыхъ путей къ невѣдомымъ цѣлямъ.

Мы позволили себѣ это, быть можетъ, слишкомъ длинное отступленіе отъ предмета нашего разбора исключительно для того, чтобы выяснить до какой степени современному писателю — не гению — трудно создать что-нибудь новое и вполне оригинальное—въ особенности въ эпическомъ родѣ. Поэтому, возвращаясь къ поэмамъ г-жи Львовой, мы, кажется, не обвинимъ ее въ слишкомъ тяжкомъ преступленіи, если скажемъ, что всѣ эти

поэмы — новыя погудки на старый ладъ и написаны подъ непосредственнымъ и сильнымъ вліяніемъ Лермонтова, графа Алексѣя Толстого и др. Такъ напримѣръ Марія Египетская — очень напоминаетъ Грѣшницу. Поэма Нина — по самому замыслу автора должна служить продолженіемъ и окончаніемъ Лермонтовской «Сказки для дѣтей» — задача опасная и неблагодарная, съ которою г-жа Львова, конечно, не справилась. Наконецъ поэма «Недопѣтая пѣснь» какъ по формѣ (дневникъ), такъ и по содержанію представляетъ изъ себя простой пересказъ одной изъ поэмъ пишущаго этотъ разборъ — Старыя рѣчи. Было бы поэтому излишнимъ приводить содержаніе всѣхъ этихъ произведеній г-жи Львовой, разбирать характеры и положенія дѣйствующихъ въ нихъ лицъ — словомъ, подвергать поэмы подробному и строгому разбору. Какъ произведенія совершенно несамостоятельныя, онѣ не вносятъ ничего новаго въ русскую литературу и весь интересъ ихъ сосредоточивается на подробностяхъ, на отдѣльныхъ поэтическихъ картинкахъ, описаніяхъ природы и, наконецъ, во многихъ случаяхъ на прекрасномъ повѣствовательномъ стихѣ. Эти достоинства поэмъ г-жи Львовой подтверждаютъ сказанное нами о свойствахъ ея поэтическаго дарованія, когда мы разбирали ея лирическія стихотворенія. Хотя и въ поэмахъ встрѣчаются плохіе рѣшмы и неправильности стихосложенія, но грѣхи эти, очевидно, — плодъ небрежности и торопливости въ писаніи, а не признакъ неспособности овладѣть поэтической формой, которая — повторяемъ — мѣстами у г-жи Львовой вполне безукоризненна. Мы сдѣлаемъ нѣсколько выписокъ, преимущественно изъ двухъ послѣднихъ поэмъ — Недопѣтая пѣснь и Нина, въ которыхъ достоинства поэзіи г-жи Львовой выступаютъ ярче, нежели въ предыдущихъ ея произведеніяхъ.

Вотъ, напримѣръ, прелестная картинка природы:

Тайнственно заснулъ тѣнистый, старый садъ;
 Надъ нимъ безсчетныхъ звѣздъ мигающія очи
 На бархатѣ небесъ душистой, южной ночи
 Бросають на землю лучистый, нѣжный взглядъ.

Воздушный вѣтерокъ, скользя надъ деревьями,
Тревожить листья липъ и стройныхъ тополей;
Ихъ вѣтви на песокѣ бѣлѣющихъ аллей
Ложатся трепетно узорными тѣнями.
Неясной массою господскій сѣрый домъ
Во мракѣ утонулъ надъ спящимъ цвѣтникомъ;
Склоняся головками, цвѣты благоухаютъ;
Съ акацій сыплется душистый, бѣлый цвѣтъ;
Ночные голоса молчанье прерываютъ . . . и т. д.

Вотъ лирическій отрывокъ изъ дневника:

О, чудныя мгновенья
Невыясненныхъ чувствъ, предвѣстники сближенья!
Какъ передать вашъ смыслъ, какъ высказать въ словахъ
Все то, что медленно рождается въ сердцахъ,
Что теплится въ груди, какъ блѣдная лампада,
Какъ искры жгучія въ темнѣющей золѣ?

Заключительные стихи поэмы полны трогательнаго воодушевленія:

Мы встрѣтились съ тобой на мигъ, въ земномъ скитаньи:
Такъ было суждено — и въ краткомъ здѣсь свиданьи
Соединились мы для неба навсегда.
Но если ты забылъ, но если безъ слѣда
Прошла въ твоей душѣ и встрѣча и разлука,
То, знай, настанетъ часъ — и вспомнишь ты меня,
Въ душѣ откликнется моя нѣмая мука . . .
...Ты вспомнишь и поймешь! . . . Тогда, тогда, о другъ,
Не прогоняй любви, не прогоняй былого,
Дай волю чувствамъ всѣмъ, и грѣзамъ, и слезамъ,
Дай вознестись душѣ изъ оута земного,
Изъ міра суеты къ забытымъ небесамъ! . . .

Въ поэмѣ Нина также встрѣчаются прекрасныя, звучныя строфы. Демонъ говоритъ Нинѣ:

Я предъ тобой явлюсь, какъ богъ земной,
Въ величїи могущества и силы,
И для меня ты кинешь домъ родной,
Привычки всѣ, что дороги и милы
Тебѣ давно — и вслѣдъ пойдешь за мной
И проповѣдь бѣсовскаго ученья,
Полна горячаго, слѣпаго вдохновенья,
Польется съ устъ на изумленный свѣтъ.
Какъ геній зла, ты будешь сѣять вредъ.

Приведенныя выписки, кажется, вполне достаточны для того, чтобы дать понятіе довольно опредѣленное о стихотворномъ талантѣ г-жи Львовой.

Подводя итоги всему вышеизложенному, мы приходимъ къ заключенію, что сборникъ г-жи Львовой, хотя и не можетъ быть признанъ цѣннымъ вкладомъ въ сокровищницу современной русской литературы, но все же явленіе отрадное и подающее надежды. Намъ кажется, что дарованіе г-жи Львовой преимущественно лирическое, что писаніе длинныхъ поэмъ, созданіе характеровъ — не ея дѣло; но въ выраженіи субъективныхъ ощущеній, въ рисовкѣ небольшихъ пейзажей она можетъ достигнуть значительной степени совершенства и занять подобающее мѣсто въ средѣ современныхъ поэтовъ новѣйшей формаціи — при непремѣнномъ однако условіи окончательной выработки стихотворной техники, которую г-жа Львова иногда слишкомъ пренебрегаетъ.

Присужденіе поощрительной преміи за сборникъ стихотвореній «Поэмы и пѣсни» намъ казалось бы поэтому вполне возможнымъ и даже справедливымъ.

Въ заключеніе мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи выразить здѣсь нашу глубокую благодарность тѣмъ литерато-

рамъ, которые съ обычною готовностью отзывались на приглашение Академіи раздѣлить ея труды въ разсмотрѣніи представленныхъ на пушкинскій конкурсъ сочиненій. Въ изъясненіе этой искренней признательности Отдѣленіе сочло пріятною обязанностью присудить по золотой пушкинской медали Д. В. Аверкіеву, В. В. Латышеву и Л. И. Поливанову.

